

ЭЛИС МАНРО

Дороже
самой
ЖИЗНИ



Нобелевская
премия
по литературе
2013 года

PREMIUM

Азбука Premium

Элис Манро

Дороже самой жизни (сборник)

«Азбука-Аттикус»

2012

Манро Э.

Дороже самой жизни (сборник) / Э. Манро — «Азбука-Аттикус»,
2012 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-08561-9

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. В своем новейшем сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее изысками и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро – умение сочувствовать персонажам, и здесь она снова демонстрирует его в полном объеме.

ISBN 978-5-389-08561-9

© Манро Э., 2012
© Азбука-Аттикус, 2012

Содержание

Дороже самой жизни	11
Достичь Японии	11
Амундсен	24
Покидая Мэверли	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Элис Манро

Дороже самой жизни

© Т. Боровикова, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Манро – одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия – художественная литература... Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый яркий из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проникательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумна Лахири

Поразительно... Изумительно... Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Прюз

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы – не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

Мудрые и незабываемые истории. «Дороже самой жизни» – это дивный подарок: он напоминает нам, почему творения Манро не умирают.

The Boston Globe

Несомненное свидетельство того, что ее талант по-прежнему силен... Прочитав эти рассказы, вы узнаете кое-что о жизни Элис Манро, но еще больше – о ее мышлении, которое, что вполне ожидаемо, захватывает еще сильнее.

The New Republic

Элис Манро не только уважают, ей поклоняются... Сборник «Дороже самой жизни» так же насыщен и так же потрясает, как ее предыдущие работы.

The New York Review of Books

Нет другого писателя, который умел бы так изобразить безумства и слабости влюбленных, растерянность и разочарование, что приносит нам жизнь, или жестокость и предательство, выражающиеся иногда в еле заметных жестах, оттенках интонации... Рассказы из сборника «Дороже самой жизни» нарушают множество литературных канонов, зато снова подтверждают остроту психологического зрения Манро, ее ясное видение и приятие человеческих слабостей и ее виртуозное владение жанром рассказа.

The Washington Post

Элис Манро снова доказала, что звание мэтра короткой прозы принадлежит ей по заслугам.

O, The Oprah Magazine

Исключительно... Никто другой не может рассказать так много в столь немногих словах. Скромный вид коротких фраз Манро таит в себе богатые рудные жилы.

Chicago Tribune

В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.

San Francisco Chronicle

Эта книга затягивает... И самое сильное впечатление оставляют четыре автобиографических этюда в конце, демонстрируя наблюдательность Манро и ее умение изобразить взлеты и падения чувств короткими мазками кисти.

Entertainment Weekly

На сегодня это лучший из сборников Манро.

The Philadelphia Inquirer

Замечательно... Она мастерски рисует связь между людьми и местом их жительства.

Time Out New York

У Манро невероятный дар – она умеет убедить читателя, что ее герои жили полной жизнью до начала рассказа и продолжают жить уже после того, как рассказ закончится... Это просто отличный писатель, который любит свое ремесло.

The Guardian

Манро часто называют «канадским Чеховым», чтобы отметить ее превосходство над другими писателями, работающими в жанре короткой прозы, но этот титул весьма слабо описывает всю мощь ее литературного влияния. «Дороже самой жизни», тринадцатый сборник Манро, лишь подкрепляет ее репутацию мастера, создающего умные и утонченные рассказы из весьма скромного материала.

Minneapolis Star Tribune

Виртуозно... Со страниц сборника встают самые разные и вечно непредсказуемые герои – молодые, старые, средних лет – в обстоятельствах, отражающих бурный и хаотический поток самой жизни.

The Seattle Times

Когда появляется новый сборник рассказов всеми любимой Элис Манро, то кажется, что он должен прийти до тебя уже потрепанным: с загнутыми страницами («Я именно это и чувствую! Откуда она знает?»), с потрескавшимся от многократных открываний корешком, с помятой обложкой – ведь каждый рассказ заслуживает, чтобы его перечитывали снова и снова. Лучшие слова, которые можно сказать об Элис Манро, уже настолько затерлись, что, возможно, и не стоят повторения. Но я все же повторю их, для протокола: она – мастер своего ремесла. В тринадцатом по счету сборнике, «Дороже самой жизни», Манро снова вдыхает жизнь в персонажей и обстановку (как правило, это ее родина, маленький городок в графстве Гурон провинции Онтарио в Канаде) – настоящую жизнь со всеми ее изъяснами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро – умение сочувствовать героям, и здесь она снова демонстрирует его в полном объеме. Но самая упоительная часть нового сборника – последние четыре рассказа, объединенные в то, что автор назвала «финалом». В них Манро наиболее близко подошла к автобиографической прозе.

Amazon Best Books of the Month

Манро – та, кто она есть, и нам повезло, что она у нас есть. Ни одному автору, кроме нее, не удалось вместить столько жизни – и столько жизней – в столь немногих страницах... Эти рассказы можно перечитывать снова и снова, каждый раз открывая в них новые грани.

The Miami Herald

Элис Манро давно признана одним из литературных сокровищ Канады. Новый сборник – с историческим уклоном, с автобиографическим оттенком, с импрессионистскими описаниями природы, с проблесками ностальгии, с приятной иронией – в очередной раз подтверждает репутацию писателя.

The Washington Times

Как ей удается изобразить такие потрясающие эффекты на таких небольших полотнах? Над этим вопросом задумывался любой, кто сколько-нибудь серьезно пытался писать рассказы в последние двадцать лет... У Манро есть дар – и это не пустые слова – выбирать детали, которые неудержимо расцветают у читателя в голове.

Los Angeles Times

Читать Элис Манро – все равно что пить воду: слова едва замечаешь, только дивишься, что твоя жажда вдруг прошла... За каждой фразой стоит мир, обрисованный зачастую полнее, чем у другого писателя в целом романе.
The Plain Dealer

Каждая крупинка репутации Манро – репутации лучшего писателя короткой прозы на английском языке, если не вообще в мире, – заслужена. В этой книге собраны лучшие образцы прозы – захватывающей, сложной, живой.
Richmond Times-Dispatch

Эти рассказы совершенны... Сборник «Дороже самой жизни» не менее богат и полон сюрпризов, чем любое другое собрание рассказов, которых было так много на протяжении творческого пути писательницы.
National Post

Элис Манро всегда воспевала неожиданную страсть, которая возникает вроде бы ниоткуда и меняет всю жизнь героя. Манро уже много десятилетий остается одним из наших самых значительных писателей. В ее работе представлены и наиболее важные аспекты литературы, и те, что дарят наибольшее наслаждение, и те, что напоминают нам, как отличить великое литературное произведение: если перед вами именно оно, вы обязательно его узнаете и не ошибетесь.
The Globe and Mail (Toronto)

При чтении последнего сборника Манро в голове всплывает пословица: «Новое – это хорошо забытое старое». Она кажется банальной и даже обидной для писателя, но в данном случае это искренняя похвала непрерывному чуду, которое совершает Манро – по мнению многих, самый талантливый из современных англоязычных писателей, творящих в жанре рассказа. В сборнике 14 рассказов – в некоторых Манро продолжает исследовать свою вселенную (сельскую местность и маленькие городки провинции Онтарио в Канаде), иногда с неожиданными поворотами, другие следуют более традиционными маршрутами – их персонажи и ситуации перекликаются с рассказами из других сборников Манро. Но не важно, насколько знаком или незнаком читателю предмет, – Манро каждый раз находит новые способы рассказать о жизни простых людей так, что этот рассказ завораживает. «Амундсен» разворачивается на фоне, который подстегнет интерес любителей творчества писательницы. Однако тон рассказа удивляет читателя и даже отчасти нарушает его душевное спокойствие. Девушка, героиня рассказа, уезжает в глушь, на должность учительницы в туберкулезном санатории, и скоро у нее завязывается пугающий роман с главврачом. Но, видя писательское мастерство Манро и ее фирменный прозрачный, резонирующий стиль, читатель понимает, что мрачное «последствие» рассказа – намеренное. «Надежный тыл» наверняка будет считаться одним из ее шедевров: динамичный сюжет – фирменный знак Манро – на этот раз поведает нам о девочке-подростке, которая живет у тети с дядей, пока ее родители трудятся миссионерами в Африке. В весьма драматических обстоятельствах она приходит к пониманию: то, что кажется терпимостью к причудам другого человека, может быть просто равнодушием. То, что первый тираж сборника

составил 100 000 экземпляров, подтверждает популярность Манро в разных странах мира.

Booklist

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезжены, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны – и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская Газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» – это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история – еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравнивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытасканные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но... Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от

литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия была щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета. ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотно, фокусируясь на внутреннем мире...

ELLE

Дороже самой жизни

Достичь Японии

Питер принес ее чемодан в купе и как-то засуетился. Впрочем, он тут же объяснил, что вовсе не торопится от нее убежать – просто боится, как бы поезд не тронулся. Он вышел на перрон, встал под окном купе и принялся махать рукой. Улыбаться и махать. Улыбка, предназначенная Кейти, была широкая, солнечная, без тени сомнения, будто он верил, что дочь всегда так и будет чудом для него, а он – для нее. На всю жизнь. Улыбка, предназначенная жене, была словно исполнена веры и надежды, с толикой решимости. Пожалуй, эту улыбку не просто было бы выразить словами. Может, и вовсе невозможно. Скажи Грета что-нибудь такое, он ответил бы: «Не придумывай». И она согласилась бы – решила бы, что для людей, живущих бок о бок день ото дня, всякие объяснения бессмысленны.

Когда Питер был еще ребенком, мать перетащила его через горы – Грета никак не могла запомнить их название. Мать Питера бежала из социалистической Чехословакии на Запад. Не одна, конечно. Отец Питера собирался идти с той же группой, но его отправили в лечебницу как раз накануне их тайного отбытия. Он должен был последовать за ними, когда получится, но вместо этого умер.

– Я читала про такое, – сказала Грета, когда Питер впервые поведал ей эту историю. И добавила, что в книгах ребенок обязательно начинал плакать и матери приходилось его задушить, чтобы он своим плачем не выдал всю группу.

Питер сказал, что никогда не слышал подобного и не знает, что сделала бы его мать в такой ситуации.

На самом деле его мать сделала вот что: уехала в Британскую Колумбию, подучила английский и нашла работу преподавателя. Она преподавала в старших классах школы то, что тогда называлось «Нормами делового оборота». Она вырастила Питера одна и отправила в университет, и он стал инженером. Приходя в гости к Питеру и Грете – сперва в квартиру, потом в дом, – мать всегда сидела в гостиной и не заходила на кухню, пока Грета не приглашала ее туда зайти. Такой уж у матери был обычай. Она довела до крайности искусство не замечать. Не замечать, не вмешиваться, не намекать. Хотя в любой области домашнего хозяйства, домашнего искусства намного опережала невестку.

И еще она избавилась от квартиры, в которой Питер вырос, и переехала в другую, поменьше, где не было отдельной спальни – только место для раскладного дивана. «Значит, Питер теперь не сможет погостить дома у мамочки?» – поддразнивала ее Грета, но мать эти шутки явно ошарашивали. Даже причиняли ей боль. Может быть, все дело в языковом барьере. Но мать теперь все время говорила по-английски, а Питер так и вовсе никакого другого языка не знал. Он тоже изучал «Нормы делового оборота» – правда, не у матери, – пока Грета проходила «Потерянный рай». Она избегала всего полезного, как чумы. Он, кажется, поступал в точности наоборот.

Теперь их разделяло стекло, Кейти упорно продолжала махать, и они самозабвенно изображали на лицах комическую и даже отчасти безумную благожелательность. Грета подумала о том, какой он красивый и насколько сам об этом не подозревает. Он стригся под ежик, в духе времени, – собственно, для инженера и тому подобных профессий выбора и не было. У него была светлая кожа, и он никогда не краснел, в отличие от Греты, никогда не шел пятнами от солнца, а лишь покрывался ровным легким загаром независимо от времени года.

Его мнения были чем-то сродни его цвету лица. После похода в кино его никогда не тянуло обсуждать фильм. Он только говорил, что фильм отличный, или хороший, или ничего

так. Просто не видел смысла углубляться в рассуждения. Он и телепередачи смотрел, и книги читал так же. Относился к авторам с пониманием. Они ведь сделали все, что могли, в пределах своих возможностей. Раньше Грета начинала с ним спорить и сердито спрашивала: вот если бы дело касалось моста, он бы то же самое сказал? Что люди сделали все, что могли, в пределах своих возможностей, но этого оказалось недостаточно, и мост рухнул.

Но он не спорил с ней, а только смеялся.

И говорил, что это совсем другое.

Другое?

Другое.

Грете следовало бы понять, что такой взгляд на жизнь – терпеливый, прощающий – большая удача для нее. Ведь она была поэтом, и в ее стихах попадались вещи отнюдь не бодрые, а также труднообъяснимые.

(Мать и коллеги Питера – кто знал – до сих пор говорили «поэтесса». Питера она отучила от этого слова. Больше никого учить не пришлось. Ни родственники, от которых Грета отделилась, ни люди, с которыми она общалась теперь в роли жены и матери, ничего не знали об этой ее небольшой странности.)

Потом, позже, ей трудно будет объяснять, что было принято в то время и что нет. Можно сказать, что да, феминизм был не принят. Но тут же пришлось бы объяснять, что тогда и слова-то такого не знали – «феминизм». А дальше увязнешь в подробностях: тогда любая серьезная мысль у женщины, не говоря уже о карьерных устремлениях или чтении настоящих книг, могла стать поводом для подозрений. Или причиной того, что когда-нибудь потом у твоего ребенка было воспаление легких. А твое замечание о политике на корпоративном вечере могло стоить твоему мужу продвижения по службе. Даже не важно, что именно ты сказала и про какую партию. Важен сам факт того, что у женщины с уст сорвались такие слова.

Когда она все это рассказывала, люди смеялись и говорили: «Вы шутите, конечно же». И она отвечала: «Да, но в этой шутке очень большая доля правды». И добавляла: «Одно, впрочем, могу сказать. Писать стихи женщине было чуть более простительно, чем мужчине». Вот тут слово «поэтесса» приходилось очень кстати. Оно было как паутина из нитей сахарной ваты. Питер придерживался других воззрений, но не забывайте, что он родился в Европе. Впрочем, он бы понял, как его коллегам, мужчинам, полагалось относиться к таким вещам.

В то лето Питеру предстояло месяц или даже больше руководить проведением работ в Ланде. Далеко вверх по карте, вверх до упора на север, до края материка. Для Кейти и Греты там места не было.

Но у Греты была знакомая, с которой она когда-то вместе работала в ванкуверской библиотеке. Знакомая вышла замуж и теперь жила в Торонто, но Грета поддерживала с ней связь. Она и ее муж собирались летом уехать на месяц в Европу – муж был преподавателем. И знакомая написала Грете с вопросом (очень вежливо сформулированным), не хочет ли Грета вместе с семьей оказать им услугу и часть этого времени последить за домом в Торонто, чтобы он не пустовал. Грета написала в ответ, что Питер уедет по работе, но сама она вместе с Кейти с удовольствием принимает предложение.

Вот поэтому они сейчас и махали друг другу – он с перрона, они из поезда.

Тогда был такой журнал, «И ответило эхо». Выходил он в Торонто, нерегулярно. Грета наткнулась на него в библиотеке и послала в журнал свои стихи. Два стихотворения в самом деле опубликовали, и поэтому, когда главный редактор журнала прошлой осенью приезжал в Ванкувер, Грету вместе с прочими литераторами пригласили на встречу. Встреча проходила в доме писателя, имя которого Грета, кажется, знала всю свою жизнь. Мероприятие начиналось ранним вечером, когда Питер еще был на работе, так что Грета наняла кого-то побыть

с ребенком, а сама села на автобус и поехала по Северному Ванкуверу, через мост Львиных Ворот и через парк Стэнли. Потом долго ждала на остановке перед универмагом «Компании Гудзонова залива» и снова долго ехала – до самого кампуса университета, где и жил писатель. На последнем повороте перед конечной Грета вылезла, нашла нужную улицу и пошла по ней, вглядываясь в номера домов. Грета была на высоких каблуках и потому шла очень медленно. Еще на ней было ее самое шикарное черное платье, с молнией на спине, – оно утягивало талию и с самого начала было тесновато в бедрах. Ковыляя по извилистым улочкам без тротуаров, Грета думала, что выглядит по-дурацки – одинокий пешеход в свете увядающего дня. Современные дома, панорамные окна – словно в районе новых застроек; Грета совсем не такое ожидала увидеть. Она уже начала подумывать, что ошиблась улицей, и не сказать чтобы это ее огорчило. Можно вернуться на остановку, там скамейка. Украдкой снять туфли и устроиться поудобнее на всю долгую дорогу домой.

Но когда она увидела нужный номер дома и стоящие рядом машины, было уже поздно возвращаться. Из-под закрытой двери просачивался шум, и Грете пришлось нажать кнопку звонка дважды.

Еепустила женщина, которая, похоже, ждала кого-то другого. «Впустила», впрочем, не совсем точное слово – женщина открыла дверь, и Грета сказала, что, кажется, это здесь сегодня сборище.

– А вы сами не видите? – сказала женщина и встала в двери, прислонясь к косяку.

Так она и стояла, загораживая дверь, пока Грета не спросила:

– Можно я войду?

Женщина двинулась вглубь дома, – казалось, это движение причиняло ей сильнейшую боль. Она не пригласила Грету пройти, но Грета все равно пошла за ней вглубь дома.

Никто не заговорил с Гретой, никто ее даже не заметил, но скоро к ней подошла девочка-подросток и пихнула в ее сторону поднос, на котором стояли бокалы с чем-то вроде розового лимонада. Грета взяла один бокал и выпила залпом – ей хотелось пить, – потом взяла второй. Она поблагодарила девушку и попыталась завязать разговор, но та не заинтересовалась и пошла дальше делать свою работу.

Грета продолжала двигаться. И улыбаться. Никто не смотрел на нее с радостью, никто даже не узнавал, да и с какой стати? Люди скользили по ней взглядами и продолжали разговоры между собой. У всех присутствующих, кроме Греты, было вдоволь друзей, шуток, полутайн. Каждого кто-нибудь да приветствовал. Кроме подростков, которые продолжали мрачно и упорно разносить розовые напитки.

Впрочем, она не сдавалась. Розовый напиток ее подбодрил, и она решила взять еще один, как только поднос окажется в досягаемости. Она высматривала в беседующих группах брешь, в которую могла бы втереться. И кажется, нашла – до нее донеслись названия фильмов. Европейских, которые как раз в то время начали показывать в Ванкувере. Она услышала название фильма, который они с Питером ходили смотреть, – «Четыреста ударов»¹.

– О, я его видела! – воскликнула она громко, с жаром, и все посмотрели на нее, и один – видимо, главный в группе – отозвался:

– Да неужели?

Конечно, Грета была пьяна. После выпитой залпом смеси ликера «Пиммс № 1» с соком розового грейпфрута. Поэтому она не расстроилась от чужого высокомерия, как расстроилась бы трезвая. И поплыла дальше по течению, зная, что отчасти не владеет собой, но чувствуя,

¹ «Четыреста ударов» (1959) – дебютный полнометражный фильм Франсуа Трюффо, во многом автобиографический. Один из первых и ключевых фильмов французской новой волны. Фильм рассказывает о жизни трудного подростка. Французское выражение «наносить четыреста ударов» означает «вести себя на грани приличий, нарушать моральные нормы». (Здесь и далее прим. перев.)

что комнату заполняет головокружительная атмосфера вседозволенности. Пускай Грета ни с кем не подружилась – зато она вольна бродить где хочет и выносить собственные суждения.

В арке дверного проема стояли кучкой важные люди. Грета увидела среди них хозяина дома – того самого писателя, чье имя и лицо она знала всю жизнь. Речи писателя были громки и несвязны; казалось, он окутан облаком опасности, а его собеседники готовы в любой момент разразиться оскорблениями. Грета пришла к выводу, что жены этих людей составляли другой кружок, тот самый, куда она только что пыталась втереться.

Женщина, что открыла ей дверь, не принадлежала ни к одному из этих кружков – она сама была писательницей. Она обернулась, когда ее окликнули. Прозвучавшее имя значилось в списке авторов в журнале, где напечатали стихи Греты. Может, этого хватит, чтобы подойти и представиться? Как равная – равной, несмотря на холодный прием у дверей?

Но женщина уже склонила голову на плечо мужчине, который ее окликнул, и мешать им не стоило.

От этих размышлений Грета решила сесть, а так как стульев в комнате не было, она села на пол. Ее посетила мысль. Мысль заключалась в том, что, когда сама Грета ходила с Питером на вечеринку инженеров, атмосфера там была дружелюбной, хотя разговор наводил скуку. Это потому, что степень значительности каждого инженера была уже выяснена и – во всяком случае, на данный момент – оставалась неизменной. Здесь же не было никаких гарантий: в любую секунду кто-нибудь за глаза мог вынести приговор даже мэтру с кучей публикаций. И кто угодно мог напустить на себя умный вид. Или страдающий вид.

А Грета жаждала, чтобы ей кинули хоть реплику из разговора, как кость собаке.

Сформулировав про себя эту теорию неприятного общения, Грета успокоилась и решила, что ей плевать, хотят с ней разговаривать или нет. Она сняла туфли и испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Привалилась спиной к стене и вытянула ноги в проход, один из тех, по которому ходили туда-сюда гости, но не самый оживленный. Она боялась, что стакан с напитком опрокинется на ковре, и потому осушила его залпом.

Вдруг она заметила, что над ней стоит какой-то мужчина.

– Как вы сюда попали? – спросил он.

Ей стало жалко его тупо топочущие ноги. Ей было жалко всех, кому приходится стоять.

Она сказала, что ее пригласили.

– Понятно. Я спрашиваю, вы на машине приехали?

– Я пришла.

Подумав, она решила дать более развернутый ответ:

– Я сначала приехала на автобусе, а потом пришла пешком.

Тут за спиной у мужчины в туфлях возник другой, из кружка избранных.

– Превосходная идея! – сказал он. Он как будто был на самом деле не прочь с ней поговорить.

Но первому это почему-то не понравилось. Он подобрал туфли Греты, но она отказалась их надевать, объяснив, что у нее ужасно болят ноги.

– Тогда несите их. Или я понесу. Встать можете?

Она оглянулась в поисках важного человека, но тот куда-то делся. Теперь она вспомнила, что он написал. Пьесу про духоборов, которая наделала шуму, потому что духоборы должны были выступать голыми. Не настоящие духоборы, конечно. Актеры. И все равно им в конце концов не разрешили играть голыми.

Она попыталась объяснить это мужчине, который помог ей встать, но он явно не заинтересовался. Она спросила, что пишет он. Он сказал, что писатель, но не в том смысле – он журналист. Гостит в этом доме со своими детьми, которые приходятся внуками хозяевам дома. Это они – его дети – разносили напитки.

– Смертельное пойло, – сказал он, имея в виду напитки. – Чистое убийство.

Они уже были вне дома. Грета шла по газону в одних чулках и едва не наступила в лужу.
– Кто-то сблевал, – сообщила она своему спутнику.
– И верно, – сказал тот и запихал ее в машину.

От свежего воздуха настроение у Греты поменялось – беспокойный подъем сменился замешательством и даже стыдом.

– Северный Ванкувер, – сказал он. Должно быть, она успела назвать свой адрес. – О'кей? Поехали. Следующий пункт – мост Львиных Ворот.

Грета надеялась, что он не спросит, почему ее пригласили на вечеринку. Тогда ей придется сказать, что она поэт, и ее теперешний вид, ее подпитие выйдет отвратительно шаблонным. На улице было светло, но уже наступал вечер. Кажется, они ехали в нужную сторону: сначала вдоль какой-то воды, потом по мосту. Мост Бэррард-стрит. Снова поток машин. Грета все время открывала глаза и видела пролетающие мимо деревья, а потом глаза как-то сами снова закрывались. Когда машина остановилась, Грета знала, что это не дом, до него гораздо дальше. До ее дома то есть.

Над ними смыкались огромные кроны деревьев. Звезд не было видно совсем. Но виднелся отблеск на воде – между тем местом, где они были сейчас, и городскими огнями.

– Посидите, обдумайте, – сказал он.

Это слово заворожило ее.

– Обдумать?

– Как вы войдете в дом, например. С достоинством – получится у вас? Не перестарайтесь. Небрежно? Я полагаю, у вас есть муж.

– Я должна сначала поблагодарить вас за то, что отвезли меня домой, – сказала она. – Значит, вы должны сказать, как вас зовут.

Он сказал, что уже представлялся ей. Возможно, даже дважды. Ну хорошо, еще раз. Гаррис Беннет. Бен-нет. Он зять тех людей, которые устраивали у себя вечеринку. Это его дети разносили напитки. Он вместе с ними приехал в гости из Торонто. Теперь она довольна?

– А мать у ваших детей есть?

– О да. Но она в больнице.

– Мои соболезнования.

– Не нужно. Это очень хорошая больница. Для душевнобольных. Точнее, для людей с эмоциональными проблемами.

Грета тут же сообщила ему, что у нее есть муж по имени Питер и у них есть дочь по имени Кейти.

– Очень мило, – ответил он и принялся сдавать машину задним ходом.

На мосту Львиных Ворот он сказал:

– Простите, что я с вами разговаривал таким тоном. Я думал о том, поцеловать вас или нет, и решил, что нет.

Она поняла его в том смысле, что в ней есть какой-то изъян и она недостойна поцелуя. От стыда, как от пощечины, она сразу и начисто протрезвела.

– А теперь, когда мы переедем мост, нам надо повернуть направо, на Марин-драйв? – продолжал он. – Я полагаюсь на вас. Скажите мне.

Пришла осень, потом зима, потом весна, и она вспоминала о нем, наверно, каждый день. Словно каждый раз, когда засыпаешь, тебе сразу начинает сниться один и тот же сон. Она откидывалась на спинку софы и представляла, что лежит в его объятьях. Казалось бы, она не должна была запомнить его лица, но оно виделось ей во всех подробностях: с морщинками, усталое от жизни, ироничное лицо кабинетного жителя. Его тело ее тоже вполне устраивало: изношенное в разумных пределах, но еще в рабочем состоянии; неповторимо желанное.

Она чуть не рыдала от тоски по нему. Но все эти фантазии развеивались или впадали в спячку при возвращении Питера с работы. Их место заступали рутинные, неизменно надежные знаки супружеской привязанности.

Эта греза была, по правде сказать, очень похожа на ванкуверскую погоду – тоска по несбыточному с примесью уныния, дождливая мечтательная грусть, тяжесть, обвивающая сердце.

А что же отказ в поцелуе, такой неделикатный удар?

Она вычеркнула его из памяти. Забыла напрочь.

А что же ее стихи? Ни слова, ни строчки. Ни намек, что она когда-то творила.

Конечно, она отдавалась этим грезам, только когда Кейти спала. Иногда она произносила его имя вслух, впадая в полный идиотизм. Вслед за этим ее охватывали жгучий стыд и презрение к себе. Настоящий идиотизм. Идиотка.

И вдруг как разряд молнии – сперва вероятный, потом решенный отъезд Питера в Ланд. Возможность пожить в Торонто. Кусок чистого неба меж тучами, порыв ясности.

Она поймала себя на том, что пишет письмо. Оно начиналось не так, как положено письмам. Никаких «Дорогой Гаррис». Никаких «Помните меня?».

*Пишу, как бросают
Записку в бутылке, надеясь
Достичь Японии.*

Подобие стихов – впервые за долгое время.

Адреса Грета не знала вообще. Ей хватило нахальства и глупости позвонить людям, которые тогда устраивали у себя вечеринку. Но когда ответила женщина, у Греты пересохло во рту, и он показался ей бескрайним и сухим, как тундра, и пришлось повесить трубку. Она дотащила Кейти до библиотеки и нашла телефонную книгу Торонто. Там была куча Беннетов, но ни одного Гарриса или Г. Беннета.

Тут ее посетила ужасная мысль: нужно просмотреть некрологи. Она ничего не могла с собой поделывать. Пришлось ждать, пока человек, читающий подшивку газет, не закончит. Грете обычно не попадались на глаза торонтовские газеты, потому что за ними нужно было ехать через мост, а Питер приносил домой исключительно «Ванкувер сан». Листая страницы, Грета увидела фамилию «Беннет» над статьей. Значит, он не умер. Газетный колумнист. Конечно, ему ни к чему, чтобы кто попало звонил ему домой, найдя телефон в справочнике.

Он писал о политике. Кажется, умные вещи, но Грета не заинтересовалась.

Она послала ему письмо прямо туда, в редакцию газеты. Она не могла быть уверена, что он сам вскрывает свои письма, а написать на конверте «Личное» означало напрашиваться на неприятности, так что она только дописала дату и время прибытия поезда после строчек про бутылку. И не подписалась. Пусть тот, кто откроет конверт, подумает, что это пишет какая-то престарелая родственница с оригинальной манерой выражаться. Ничего такого, что могло бы его скомпрометировать, даже если странное письмо перешлют ему домой и конверт откроет жена, вышедшая из больницы.

Кейти явно до сих пор не поняла, что папа, стоящий на платформе, не едет вместе с ними. Когда поезд поехал, а папа – нет, а потом поезд набрал скорость и папа окончательно остался позади, Кейти очень тяжело восприняла такое дезертирство. Но скоро успокоилась, сообщив Грете, что папа придет утром.

Утром Грета боялась скандала, но Кейти вообще ничего не сказала про папино отсутствие. Грета спросила дочь, хочет ли та завтракать, и Кейти сказала, что да, а потом объяснила

матери – как Грета объяснила ей самой еще до того, как они сели в поезд, – что теперь им нужно снять пижамы и пойти искать другую комнату, где им дадут завтрак.

– А что ты хочешь на завтрак?

– Крис-пис.

Так Кейти называла сухой завтрак «Криспис».

– Мы спросим, есть ли у них «Криспис».

«Криспис» в вагоне-ресторане был.

– А теперь мы пойдем искать папу?

В поезде был игровой зал для детей, но совсем небольшой. Его полностью заняли мальчик и девочка – судя по одинаковым костюмчикам с кроличьими ушами, брат и сестра. Их игра состояла в том, чтобы наезжать друг на друга игрушечными машинками, в последний момент сворачивая в сторону. ТРАХ! БАХ! ВЖЖЖ!

– Это Кейти, – сказала Грета. – А я ее мама. А вас как зовут?

Грохот стал еще яростнее, но дети не подняли головы.

– Папы тут нет, – сказала Кейти.

Грета решила, что надо вернуться в купе, взять книжку про Кристофера Робина, пойти в вагон обозрения с прозрачным куполом и там читать. Там они точно никому не помешают, потому что завтрак еще не кончился, а самые главные горные пейзажи еще не начались.

Беда была в том, что, как только Грета дочитала книжку про Кристофера Робина, Кейти потребовала начать снова с самого начала. Когда Грета читала в первый раз, Кейти слушала молча, а теперь начала подхватывать концы строчек. В следующий раз она вторила матери, читая стихи полностью, но еще не была готова сама повторить все стихотворение целиком. Грета была уверена, что, когда вагон обозрения заполнится, эта декламация будет действовать на нервы окружающим. Дети в возрасте Кейти ничего не имеют против повторения, монотонности. Они даже рады ей – ныряют в нее, оборачивая знакомые слова вокруг языка, словно конфету, которая никогда не растает.

По лестнице поднялись юноша с девушкой и сели через проход от Греты и Кейти. Они бодро поздоровались, и Грета им ответила. Кейти рассердилась, что мать признала существование каких-то незнакомцев, и продолжала тихо повторять стихи, не отводя глаз от книги.

С той стороны прохода послышался голос юноши – почти такой же тихий, как у Кейти:

Смена караула у дворца! Загляделись
Кристофер Робин с нянею Элис².

Закончив это стихотворение, он принялся за другое:

Это что за ветчина?
Мне не нравится она!³

Грета засмеялась, а Кейти – нет. Она была заметно возмущена. В ее системе мира глупые слова должны были исходить из книжки, а не так – без всякой книжки, изо рта.

– Извините, – сказал юноша Грете. – Мы дошкольники. Это наша рабочая литература.

Он перегнулся через проход и тихо и серьезно обратился к Кейти:

– Хорошая книжка, правда?

² Здесь и далее фрагменты стихотворения А. А. Милна «Королевский дворец» даны в переводе Н. Слепаковой (А. А. Милн, «Я был однажды в доме», изд-во «Детская литература»).

³ Доктор Сьюз, «Зеленая яичница с зеленой ветчиной». Перевод Д. Никоновой.

– Он хочет сказать, что мы работаем с дошкольниками, – объяснила девушка Грете. – Правда, иногда мы сами путаемся.

Юноша продолжал беседовать с Кейти:

– А теперь я попробую угадать, как тебя зовут. Шустрик? Черныш?

Кейти кусала губу, но не смогла удержаться и дала ему суровую отповедь:

– Я не собака!

– Конечно нет. Это я сглупил. Я мальчик, меня зовут Грег. А эту девочку зовут Лори.

– Он тебя дразнит, – сказала Лори. – Хочешь, я его шлепну?

– Нет, – ответила, подумав, Кейти.

– «Элис просватана за рядового», – продолжил декламацию Грег. – «„Служба солдатская страх как сурова“, – молвила Элис».

На второй «Элис» Кейти едва слышно подхватила.

Лори сказала Грете, что они путешествуют и дают концерты в детских садах. Это называется «деятельность по подготовке к чтению». На самом деле они актеры. Лори сойдет с поезда в Джаспере, где ей дали работу на лето – официанткой плюс элементы комических номеров. Уже не для детей, конечно. Скорее, развлечения для взрослых.

– Господи боже мой, – засмеялась она. – Приходится брать что дают.

Грег был свободен как птица и собирался сойти с поезда в Саскатуне. У него там родня.

Грета подумала, что оба они очень красивы. Высокие, гибкие, почти ненатурально стройные, он – с черными курчавыми волосами, она – с черными гладкими, как у Мадонны. Чуть позже она сказала об их похожести, и они ответили, что иногда пользовались этим, снимая жилье. Это очень упрощало жизнь, только надо было обязательно просить две кровати и ночью смять обе.

А теперь, сказали они, можно уже не беспокоиться. Ничего скандального между ними не происходит. Они расстанутся после трех лет, проведенных вместе. Они уже много месяцев хранят целомудрие (во всяком случае, друг с другом).

– Все, хватит про дворец, – сказал Грег, обращаясь к Кейти. – Мне нужно делать упражнения.

Грета решила, что он хочет спуститься или по крайней мере выйти в проход вагона и заняться гимнастикой, но вместо этого оба откинули голову назад, напрягая шею, и разразились странными трелями и клекотом. Кейти была в восторге – она решила, что это представление и что ее хотят позабавить. Она и вела себя, как полагается зрителю, – сидела абсолютно тихо, а когда все кончилось, расхохоталась.

Какие-то люди, желающие подняться в купол для обозрения пейзажей, остановились у подножия лестницы – представление не захватило их, и они не понимали, что происходит.

– Извините, – сказал Грег, ничего не объясняя, но очень дружелюбно. Он протянул руку Кейти. – Пойдем посмотрим, есть ли тут игровая комната.

Лори и Грета последовали за ними. Грета надеялась, что Грег не из тех взрослых, что заводят дружбу с детьми, чтобы лишний раз убедиться в собственной неотразимости, и тут же начинают скучать и одергивать ребенка, устав от его неотвязного интереса.

К обеду – или даже чуть раньше – она поняла, что может не беспокоиться. Общение с Кейти вовсе не утомило Грега. К ним присоединились другие дети, и по Грегу было совершенно непохоже, что он от них устает.

Начались соревнования, которые Грег вроде бы не организовывал. Он как-то повернул направленное на него внимание детей сначала друг на друга, а потом – на игры, очень живые и даже буйные, но без злости. Никто не впадал в истерику. Никто не дулся. На это просто не было времени – столько всего интересного творилось. Казалось чудом, что такой объем свободы

и даже исступления вмещался в такое тесное пространство. А потраченная детьми энергия сулила, что после обеда они будут спать.

– Он совершенно удивительный, – сказала Грета.

– Он просто полностью выкладывается, – объяснила Лори. – Он себя не экономит. Вы понимаете? Многие себя экономят. Особенно актеры. Вне сцены они просто покойники.

«И я тоже, – подумала Грета. – Я тоже себя экономлю, почти все время. Я сдержанна с Кейти, сдержанна с Питером».

В десятилетия, которое уже началось (но о котором сама Грета пока что не задумывалась), подобным вещам будет уделяться большое внимание. Слова «полностью выкладываться» стали означать что-то такое, чего они не значили раньше. Плыть в общей волне. Дарить себя. Некоторые люди щедро дарили себя, другие не очень. Барьерам, разделяющим внутреннее и наружное, предстояло пасть под ногами толпы. Этого требовала «подлинность». Вещи вроде Гретиных стихов, которые не плыли в общем потоке, вызывали подозрение и даже навлекали на себя критику. Грета, конечно, продолжала гнуть свою линию – она раскапывала, зондировала и втайне придерживалась невысокого мнения о контркультуре. Но сейчас, вручив свое дитя Грегу и его фокусам, она была всецело благодарна.

После обеда, как Грета и предвидела, дети легли спать. Некоторые матери – тоже. Другие сели играть в карты. Лори сошла в Джаспере, и Грег с Гретой помахали ей на прощание. Лори послала им воздушный поцелуй с перрона. Появился мужчина постарше, нежно поцеловал ее, забрал ее чемодан, посмотрел в сторону поезда и махнул Грегу. Грег махнул в ответ.

– Ее нынешний хахаль, – сказал он.

Они еще помахали из окна, поезд тронулся, и Грег с Гретой увели Кейти обратно в купе, где она уснула между ними – практически на лету, в прыжке. Они открыли занавеску на окне, чтобы впустить побольше воздуха, пока нет опасности, что ребенок вывалится.

– Как это круто, когда у тебя есть ребенок, – сказал Грег.

Еще одно модное новое словечко – во всяком случае, новое для Греты.

– Со многими случается, – ответила она.

– Вы такая спокойная. Дальше вы скажете: «Такова жизнь».

– Не скажу, – ответила Грета, уставилась ему в глаза, словно играя в гляделки, и он отвел взгляд, тряхнул головой и расхохотался.

Он рассказал ей, что стал актером из-за своей религии. Его семья принадлежала к какой-то христианской секте, о которой Грета никогда не слышала. Секта была немногочисленна, но очень богата (во всяком случае, некоторые люди из секты были богаты). Они построили в маленьком городке в прерии церковь и при ней театр. Там Грег и начал играть на сцене – ему еще и десяти лет не было. Они инсценировали библейские притчи, а также ставили пьесы из современной жизни – про людей, не принадлежащих к секте, и ужасные вещи, которые с ними из-за этого случались. Семья Грега очень гордилась им, и, конечно, он сам тоже гордился собой. Конечно, он не мог даже заикнуться своим родным о том, что происходило, когда приезжали новообращенные богачи, чтобы возобновить свои обеты и получить новый заряд святости. В любом случае Грегу нравилось всеобщее одобрение, и играть на сцене тоже нравилось.

Но в один прекрасный день он сообразил, что может просто играть на сцене без всей этой церковной лабуды. Он вежливо объяснил, чего хочет, но ему сказали, что это в него вселился дьявол. Он сказал: «Ха-ха, я знаю, кто в меня вселился».

И до свидания.

– Вы не думайте, что там было только плохое. Я до сих пор верю, что человек должен молиться и все прочее. Но я никогда не смогу объяснить своим родным, что там творилось на самом деле. Даже намек на правду их просто убьет. Вы ведь, наверно, знаете таких людей?

Грета рассказала ему, как они с Питером только что переехали в Ванкувер, и ее бабушка в Онтарио списалась со священником из Ванкувера, и он пришел их навестить, и Грета была с

ним ужасно заносчива. Он обещал за нее молиться, а она едва ли не открытым текстом заявила, что не стоит. Бабушка тогда уже умирала. Каждый раз, когда Грета вспоминала об этом, ей становилось стыдно, а потом она дико злилась на себя за этот стыд.

Питер вообще не понимал таких вещей. Его мать никогда не посещала церковь, хотя одной из заявленных причин их перехода через горы было то, что они хотели свободно исповедовать католичество. Питер говорил, что католикам, наверно, хорошо – у них есть запасная страховка на случай смерти.

Это воспоминание о Питере было первым за долгое время.

Правду сказать, во все время трудного, но в чем-то утешительного разговора Грета и Грег пили. Он откуда-то достал бутылку узо. Грета пила очень осторожно – она вообще была осторожна со спиртным после той писательской вечеринки, – но все же отчасти опьянела. Достаточно, чтобы они с Грегом начали гладить друг другу руки, а потом целоваться и ласкать друг друга. Все это, конечно, происходило рядом со спящей Кейти.

– Давай-ка перестанем, – сказала Грета. – Иначе потом будем жалеть.

– Это не мы, – ответил Грег. – Это какие-то совсем другие люди.

– Ну так скажи им, чтобы перестали. Ты знаешь, как их зовут?

– Погоди-ка... Рег. Рег и Дороти.

– Ну так прекрати, Рег. В присутствии моего невинного ребенка.

– Можно пойти ко мне. Здесь недалеко.

– У меня нету...

– У меня есть.

– Неужели прямо при себе?

– Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь?

И они поправили пришедшую в беспорядок одежду, старательно застегнули все до единой пуговицы полога на койке, где спала Кейти, выскользнули из купе и, напустив на себя чрезвычайно невинный вид, перебрались в вагон Грега. Но можно было не стараться – они никого не встретили. Пассажиры сидели в вагоне обозрения, фотографируя вечные горы, либо оттягивались в вагоне-баре, либо прилегли отдохнуть.

В отсеке Грега, где царил хаос, они начали с того же, на чем только что прервались. Койка была узкая, и места обоим не хватало, но они как-то пристроились друг на друге. Сначала их разбирал сдавленный смех, потом сотрясали спазмы наслаждения – смотреть было некуда, кроме как в широко распахнутые глаза другого. Они впивались друг в друга зубами, чтобы сдержать рвущийся наружу пронзительный крик.

– Мило, – сказал Грег. – Неплохо.

– Мне надо идти обратно.

– Так скоро?

– Кейти проснется, а меня нет.

– Ладно. Ладно. Мне все равно надо собираться, Саскатун уже скоро. Представляешь, что будет, если поезд подъедет, когда мы в самом разгаре. «Привет, папа. Привет, мама. Подождите минуточку, пока я тут... А-а-а-ах!»

Она привела себя в порядок и ушла. На самом деле ей было все равно, кто ее увидит. Она была слаба, потрясена, но ее несло на волне радости, словно гладиатора, – она полностью сформулировала эту мысль про себя и улыбнулась ей, – словно гладиатора, который вышел на арену и победил.

Но она никого не встретила.

Нижнее крепление полога было отстегнуто. Грета точно помнила, что застегивала его. Хотя даже при отстегнутом креплении Кейти вряд ли могла бы выбраться наружу – и, конечно, даже пробовать не стала бы. Один раз, когда Грете нужно было выйти в туалет, она подробно

объяснила Кейти, что та не должна за ней ходить, и Кейти сказала: «Не буду» – таким тоном, словно допустить саму возможность подобного означало объявить ее неразумным младенцем.

Грета взялась за занавеску, чтобы открыть ее совсем, и, открыв, обнаружила, что Кейти нет.

Она лишилась рассудка. Она рывком сбросила подушку, как будто ребенок размеров Кейти мог под ней укрыться. Она стала тыкать кулаками в одеяло, словно Кейти могла прятаться под ним. Она взяла себя в руки и попыталась сообразить, останавливался ли поезд, пока она была с Грегом. На этой остановке, если остановка была, мог ли в поезд забраться похититель и каким-то образом украсть Кейти?

Грета стояла в проходе, пытаясь сообразить, что нужно сделать, чтобы остановить поезд.

Потом она подумала – заставила себя подумать, – что ничего подобного случиться не могло. Это смешно. Кейти просто проснулась, увидела, что матери нет, и пошла ее искать. Сама по себе.

Она где-то тут. Должна быть где-то тут. Торцевые двери вагона слишком тяжелые, Кейти не смогла бы их открыть.

Грета стояла как вкопанная. Все ее тело, ее мозг разом опустели. То, что случилось, не могло случиться. Надо вернуться назад во времени, в момент перед тем, как она ушла с Грегом. И там остановиться. Стоп.

Раскладная койка-кресло через проход пустовала. На ней лежали женский свитер и какой-то журнал, давая понять, что хозяйка вернется. Дальше была такая же койка, но разложенная и с опущенным пологом, как только что ее – или их с Кейти – койка. Грета рванула полог. Там спал какой-то старик – он во сне перевернулся на спину, но не проснулся. Разумеется, он у себя никого не прятал, там просто не было места.

Какой идиотизм.

Тут ее охватил новый страх. Что, если Кейти все же добралась до конца вагона и умудрилась открыть дверь? Или кто-то шел через эту дверь, а Кейти проскользнула за ним следом. Между вагонами был узкий отсек – там, где вагоны, собственно, сцеплялись друг с другом. Там движение поезда внезапно ощущалось по-новому и пугало сильнее. За спиной тяжелая дверь, впереди – другая, а по сторонам лязгают железные пластины. Они прикрывали ступеньки, которые опускались на перрон на станциях.

В этих переходах люди всегда торопятся, чтобы убежать от качки и грохота, напоминающих о подлинной конструкции вещей, которые на поверку оказываются не такими уж незыблемыми. Они будто сляпаны на скорую руку, раз так качаются и грохочут.

Дверь в торце вагона была тяжелой даже для Греты. А может, она просто ослабела от страха. Она изо всех сил налегла на дверь плечом.

И там, между вагонами, на беспрестанно лязгающей металлической плите, сидела Кейти. Глаза широко раскрыты, рот приоткрыт – удивленная, одна. Она вовсе не плакала, но расплакалась при виде матери.

Грета схватила ее, вскинула себе на бедро и вывалилась обратно в дверь, которую только что открыла.

У всех вагонов были названия – в честь известных битв, географических открытий или знаменитых канадцев. Их вагон назывался «Коннахт». Грета этого никогда не забудет.

Кейти была совершенно невредима. Она могла зацепиться одеждой об острые трущиеся края металлических пластин, но не зацепилась.

– Я пошла тебя искать, – сказала она.

Когда? Секунду назад – или сразу после того, как Грета ее оставила?

Конечно нет. Кто-нибудь наверняка заметил бы ее, взял на руки, поднял тревогу.

День выдался солнечный, но не теплый. Лицо и руки Кейти были заметно прохладными.

– Я думала, ты на ступеньках, – сказала Кейти.

Грета уложила ее на их общую койку и укрыла одеялом, и тут ее саму затрясло как в лихорадке. Ее замутило, в горле появился вкус рвоты.

– Не толкайся, – сказала Кейти и отодвинулась, извиваясь как червяк. – От тебя пахнет плохо.

Грета убрала руки от дочери и улеглась на спину.

Это было совершенно ужасно – все то, что она себе представляла, то, что могло случиться с ее дочерью. Кейти все еще лежала напряженная, застывшая в возмущении, отстраняясь от матери.

Конечно, Кейти кто-нибудь нашел бы. Хороший человек, а не плохой. Заметил бы и отнес в безопасное место. Грета услышала бы объявление по радио – в поезде найден потерявшийся ребенок. По словам девочки, ее зовут Кейти. Грета помчалась бы сразу, где бы ни была, на ходу застегиваясь и приводя себя в порядок, – помчалась бы забирать ребенка. Соврала бы, что она только на минуту вышла в туалет. Да, она испугалась бы, но, по крайней мере, у нее не было бы в голове этой картинки: Кейти, что беспомощно сидит в узком лязгающем пространстве между вагонами. Не плача, не жалуясь – словно ее приговорили сидеть там вечно без всяких объяснений и без надежды. Взгляд бессмысленный, челюсть отвисла – но тут она поняла, что пришло спасение, и тогда уже стало можно плакать. Лишь тогда она вернулась в свой мир и к ней вернулось право страдать и жаловаться.

Сейчас Кейти заявила, что спать ей не хочется, и попыталась встать. Она спросила, где Грег. Грета ответила, что он устал и лег спать.

Остаток дня они провели в вагоне обозрения. Кроме них, там почти никого не оказалось. Любители пейзажной фотографии, видимо, истратили всю энергию на Скалистые горы. А в прериях, как сострил Грег, не было ничего выдающегося.

Поезд ненадолго остановился в Саскатуне, и несколько человек сошли. Среди них Грег. Грета видела, что его встречают мужчина и женщина – должно быть, родители. Еще женщина в инвалидном кресле – должно быть, бабушка – и несколько молодых людей, которые стояли рядом, с лицами бодрыми и смущенными одновременно. Никто из них не был особо похож на сектантов или на тиранов, неспособных понять чужие страдания.

Но как это определишь по виду?

Грег отвернулся от встречающих и стал разглядывать окна поезда. Грета помахала ему из вагона обозрения, он заметил ее и помахал в ответ.

– Вон Грег, – сказала она, обращаясь к Кейти. – Видишь, вон там, внизу. Он нам машет. Помаши ему тоже.

Но Кейти не смогла найти Грега взглядом. А может, и пробовать не стала. Она отвернулась с чопорным и слегка оскорбленным видом, и Грег, последний раз фигурно взмахнув рукой, тоже отвернулся. Уж не наказывает ли Кейти его за то, что он ее бросил, подумала Грета. Она явно отказывается по нему скучать или даже признавать, что он существует на свете.

Ну и ладно – раз так, то пусть будет так, и дело с концом.

– Грег тебе помахал, – сказала Грета, когда поезд отходил от перрона.

– Я знаю.

Ночью, пока Кейти спала на койке, Грета сидела рядом и писала письмо Питеру. Длинное письмо – она описывала разные типы пассажиров, стараясь, чтобы выходило смешно. Она писала о том, как многие из них предпочитают смотреть на жизнь через видеоискатель фотоаппарата, а не напрямую. О том, что Кейти ведет себя хорошо. Конечно, ни слова о потере и страхе. Она отправила письмо, когда прерии давно остались позади, мимо пошли бесконечные леса черных елей и поезд по неизвестной причине остановился в маленьком затерянном городке под названием Хорнпейн.

На протяжении всех этих сотен миль все ее часы бодрствования были посвящены Кейти. Грета знала, что никогда раньше не была так предана ребенку. Да, она заботилась о дочери, одевала ее, кормила, разговаривала с ней все время, пока они были вдвоем, а Питер – на работе. Но у Греты были еще и дела по дому, и она уделяла дочери внимание лишь отрывочно, а ее нежность была хорошо рассчитанной.

Причем дело было не только в работе по хозяйству. Другие мысли заслоняли ребенка в голове у Греты. Даже до того, как ею овладела бессмысленная, изнурительная, идиотская одержимость человеком из Торонто, у нее была еще и другая работа – работа поэта, которую она творила внутри себя едва ли не с рождения. Ее осенила внезапная мысль, что это – тоже предательство: по отношению к Кейти, к Питеру, к жизни. А теперь из-за этой картины у нее в голове – Кейти, сидящая в металлическом лязге между вагонами, – она, мать Кейти, была обязана принести еще одну жертву.

Грех. Она устремила свое внимание на что-то другое. Целенаправленное, жадно ищущее внимание – на что-то иное, нежели ее ребенок. Грех.

Они прибыли в Торонто незадолго до полудня. Небо было черное. Летняя гроза с молнией. Кейти, живя на западном побережье, никогда не видела такого, но Грета объяснила, что бояться тут нечего, и Кейти, кажется, не боялась. Она не испугалась и еще более непроглядной черноты, озаренной электрическими лампочками, в туннеле, где остановился поезд.

– Ночь, – сказала она.

– Нет-нет. – Грета объяснила, что надо выйти из поезда и пройти пешком до конца туннеля. Потом они поднимутся по ступенькам или поедут наверх на эскалаторе и окажутся в большом здании, а оттуда выйдут на улицу и возьмут такси. Такси – это просто машина, и на этой машине они поедут в свой дом. В новый дом, где они немножко поживут. Они там немножко поживут, а потом поедут обратно к папе.

Они поднялись вверх по пандусу, и там оказался эскалатор. Кейти притормозила, так что Грета тоже притормозила, но тут их начали обгонять другие люди. Так что Грета взяла Кейти на руки, пристроила ее у себя на бедре, наклонилась, ухитрилась подхватить другой рукой чемодан и грохнула его на движущиеся ступени. Наверху она спустила дочь на пол, и они смогли взяться за руки под ярко освещенными высокими сводами центрального вокзала.

Прибывшие пассажиры, идущие перед ними, отделялись от потока по одному – их разбирали встречающие, окликая по имени или просто подходя и подхватывая чемоданы.

Их чемодан тоже кто-то подхватил. Схватил его, схватил Грету и поцеловал ее впервые – решительно и торжественно.

Гаррис.

Грету сначала что-то ударило, а потом у нее внутри все перевернулось и с грохотом расставилось по местам.

Она пыталась цепляться за Кейти, но девочка именно в этот момент отстранилась и вырвала руку.

Она не делала попыток убежать. Просто стояла и ждала, что будет дальше.

Амундсен

На скамейке у станции сидела я и ждала. Когда поезд пришел, станцию открыли, но потом снова заперли. На другом конце скамьи сидела женщина, держа меж коленей авоську со свертками в промасленной бумаге. Мясо, сырое мясо. Чувствовалось по запаху.

Через несколько путей от нас, ожидая неизвестно чего, стояла электричка. Пустая.

Больше пассажиров не было, и через некоторое время начальник станции высунул голову и закричал: «Сан!» Сначала я решила, что он зовет кого-то по имени, «Сам». И действительно, из-за угла здания появился мужчина в форменной одежде. Он перешел через пути и залез в трансформаторный вагон. Женщина с авоськой встала и пошла за ним, так что я последовала ее примеру. С другой стороны улицы послышались крики; двери дома с плоской крышей, крытой темной черепицей, отворились, и оттуда выбежало несколько человек – они на ходу натягивали кепки, молотя себя «тормозками» по ногам. Они устроили ужасный тарарам – можно было подумать, что поезд вот-вот покажет им хвост. Но когда они поднялись в вагон и расселись по местам, ничего не случилось. Поезд не трогался. Они пересчитали друг друга по головам, назвали имя отсутствующего и велели машинисту пока не ехать. Тут кто-то из них вспомнил, что у отсутствующего сегодня выходной. Поезд тронулся, хотя я не могла бы сказать, прислушивался ли машинист к происходящему в вагоне и не было ли ему все равно.

Все мужчины слезли у лесопилки, расположенной среди кустарника на плоской равнине – пешком от вокзала они дошли бы сюда минут за десять, – и вскоре после этого в окнах вагона показалось озеро, покрытое снегом. Перед ним стояло длинное белое деревянное здание. Женщина поправила свои свертки и встала, я тоже. Машинист снова закричал: «Сан!» – и открыл двери вагона. На платформе стояли две женщины – они приветствовали женщину с авоськой, а она в ответ заметила, что сегодня ветрено.

Все они избегали смотреть на меня, пока я спускалась по ступенькам вслед за женщиной с мясом.

На этом конце поезду, видно, ждать было некого. Двери с лязгом захлопнулись, и он двинулся в обратный путь.

Воцарилась тишина, воздух был как лед. Хрупкие с виду березы с черными отметинами на белых стволах и какие-то растрепанные вечнозеленые кустики, сбившиеся в кучу, как сонные медведи в берлоге. Замерзшее озеро было не ровным, а бугрилось у берега, словно волны превратились в лед прямо на бегу. За нами стояло здание с решительными рядами окон и застекленными верандами по обоим концам. Все было сурово и северно, черно-бело под высоким куполом облаков.

Но березовая кора совсем не белая, если подойти поближе. Серовато-желтая, серовато-голубая, серая.

Все так неподвижно, так завораживает.

– Вы куда? – спросила меня женщина с мясом. – Посетителей не пускают после трех.

– Я не посетитель, – ответила я. – Я учительница.

– Ну так вас все равно не пустят через парадную дверь, – с некоторым удовлетворением сказала женщина. – Идите-ка лучше со мной. А что, у вас багажа нет никакого?

– Начальник станции обещал его привезти.

– Вы так тут стояли, как будто заблудились.

Я объяснила, что остановилась из-за красоты пейзажа.

– Ну да, некоторым тут нравится. Только если они не слишком больные и у них есть время прохлаждаться.

После этого мы молчали, пока не дошли до кухни, расположенной в торце здания. Мне не терпелось согреться. Я не успела осмотреться вокруг, потому что женщина обратила внимание на мои ноги.

– Ну-ка, разуйтесь, а то весь пол затопчете.

Я неловко стащила сапоги – сесть было некуда – и поставила их на коврик рядом с сапогами женщины.

– Возьмите их с собой. Я не знаю, куда вас определяют. И пальто не снимайте, в гардеробе не топят.

Ни отопления, ни света – кроме того, что просачивался в крохотное окошечко где-то высоко над головой. Словно я опять школьница и меня наказали. Отправили на отсидку в гардероб. Да. Тот же запах – никогда до конца не просыхающей зимней одежды, сапог, промокших насквозь до грязных носков, невымытых ног.

Я залезла на скамейку, но до окна все равно не дотянулась. На полке, где лежали как попало набросанные шапки и шарфы, я обнаружила пакетик с инжиром и финиками. Должно быть, кто-то стащил и спрятал, чтобы унести домой. Я вдруг поняла, что проголодалась. Я ничего не ела с самого утра, кроме подсохшего бутерброда с сыром из железнодорожного буфета. Я задумалась о том, этично ли украсть у вора. Но семечки инжира налипли мне на зубы и выдадут меня.

Я слезла со скамьи – и как раз вовремя. Кто-то шел в гардероб. И не из кухонной obsługi, а девочка, школьница, в громоздком зимнем пальто и платке. Она не вошла, а ворвалась – швырнула книги на скамью, содрала платок, так что волосы выстрелили в разные стороны, и как будто одновременно с этим брыкнула обеими ногами, скидывая сапоги, которые разлетелись по полу. Очевидно, ее-то никто не остановил с требованием снять сапоги у кухонной двери.

– Ой, я не хотела в вас попасть, – сказала девочка. – Тут так темно после улицы, что ничего не разобрать. Вы не замерзли? Вы кого-то встречаете с работы?

– Я жду доктора Лисса.

– Ну так он скоро будет, я с ним ехала из города. Вы не больная? Если вы больная, вам сюда нельзя, вам надо в его кабинет в городе.

– Я учительница.

– Правда? Вы из Торонто приехали?

– Да.

Она замолчала ненадолго – может быть, из уважения.

Но нет. Она разглядывала мое пальто.

– Очень красивое. А воротник у вас из чего?

– Мерлушка. Искусственная, вообще-то.

– Прямо не отличить. Я не знаю, зачем вас сюда прислали, – тут так холодно, того гляди задница отвалится. Извините. Вы хотели повидать доктора, я могу вас проводить. Я знаю, где тут что, я тут живу чуть ли не с рождения. Моя мамка заправляет кухней. Меня зовут Мэри. А вас?

– Виви. Вивьен.

– Если вы учительница, мы должны вас звать «мисс» и по фамилии. Мисс... как?

– Мисс Хайд.

– Смотрите, чтоб вас не ухайдакали, – немедленно отозвалась она. – Извините, я всегда что-то такое выдумываю. Хорошо бы я у вас училась, но мне надо ходить в школу в городе. Такие дурацкие правила. Потому что у меня нету тэ-бэ-цэ.

Она говорила все это на ходу – мы вышли через дверь в дальнем конце гардеробной и пошли по типично больничному коридору. Натертый воском линолеум. Стены выкрашены в тускло-зеленый цвет. Запах дезинфекции.

– Теперь, когда вы приехали, может, я уговорю Рыжего перевести меня сюда.

– Кто такой Рыжий?

– Лисс, Рыжий Лис. Это из книжки. Мы с Анабель придумали его так звать.

– А кто это Анабель?

– Уже никто. Она умерла.

– Ой, извини.

– Вы не виноваты. Здесь это бывает. Я в этом году перехожу в старшие классы. Анабель вообще толком не ходила в школу. Когда я только начала ходить в школу, Рыжий уговорил учительницу почаще отпускать меня домой, чтобы я побольше времени была с Анабель.

Она остановилась у полуоткрытой двери и свистнула:

– Эй! Я привела учительницу.

Ответил мужской голос:

– Хорошо, Мэри. Мне тебя на сегодня хватит.

– Поняла.

Она поплыла прочь, а я оказалась лицом к лицу с худошавым мужчиной среднего роста. У него были очень коротко стриженные светлые рыжеватые волосы, которые блестели в свете коридорных ламп.

– Вы познакомились с Мэри, – заметил он. – Она ужасная болтушка. Она не будет у вас учиться, так что вам не придется каждый день через это проходить. Ее либо любят, либо терпеть не могут.

Мне показалось, что он старше меня лет на десять-пятнадцать, и сначала он со мной разговаривал именно так, как обычно говорят мужчины постарше с молодыми женщинами. Человек, который должен стать моим начальником. Занятый по уши. Он спросил, как я доехала и где мой чемодан. Он хотел знать, как мне понравится жить в лесной глуши после Торонто и не будет ли мне скучно.

Я заверила его, что не будет, и добавила, что здесь очень красиво.

– Здесь как... как будто в русском романе.

Он впервые взглянул на меня с интересом:

– В самом деле? В каком же именно?

Глаза у него были светлые, ясные – серовато-голубые. Одна бровь поднялась островерхим домиком.

Нельзя сказать, что я не читала русских романов. Я прочла их несколько – одни целиком, другие частично. Но из-за этой брови и его ироничного, чуть агрессивного лица я не смогла вспомнить ни одного названия, кроме «Войны и мира». А «Войну и мир» я не хотела называть, потому что ее все знают.

– «Война и мир».

– Боюсь, у нас тут только мир. Если вам хочется войны, вам следовало бы вступить в одно из этих женских подразделений и поехать за море.

Я рассердилась и почувствовала себя униженной, потому что я на самом деле не выпендривалась. Во всяком случае, не только выпендривалась. Я от души хотела поделиться с ним, рассказать, как потряс меня этот прекрасный пейзаж.

Доктор был явно из тех людей, которые обожают вопросы-ловушки.

– Наверно, я ждал, что явится какая-нибудь пронафталиненная престарелая дама-учительница, – сказал он слегка извиняющимся тоном. – Как будто в наше время человек, если он хоть что-то знает и умеет, пойдет преподавать. У вас ведь не педагогическое образование? Что вы собирались делать, получив степень бакалавра?

– Учиться на магистра, – коротко ответила я.

– И почему же вы передумали?

– Решила заработать денег.

– Весьма разумно. Хотя, боюсь, тут вы много не заработаете. Простите меня за личные вопросы. Я просто хотел убедиться, что вы не сбежите внезапно, оставив нас в неловком положении. Замуж не собираетесь?

– Нет.

– Хорошо, хорошо. Все, больше не буду вас мучить. Надеюсь, я вас не очень напугал.

Я отвернулась от него:

– Нет.

– Идите по коридору, там будет кабинет заведующей, она вам расскажет все, что нужно. Есть будете с медсестрами. Заведующая покажет вашу комнату. Старайтесь не простужаться. Надо полагать, опыта работы с туберкулезными больными у вас нет?

– Ну, я читала...

– Знаю, знаю. «Волшебную гору». – Я попала в очередную ловушку, и он воспрянул духом. – Смею сказать, с тех пор медицина отчасти продвинулась. Вот, я тут набросал кое-какие мысли о здешних детях и о том, что с ними надо делать. Иногда мне легче писать, чем говорить. Идите к заведующей, она вам все расскажет.

Я не пробыла здесь и недели, а события первого дня уже казались неповторимыми и невероятными. Кухню и гардероб при кухне, где поварахи оставляли одежду и прятали плоды мелких краж, я больше не видела и, скорее всего, не должна была больше видеть. В кабинет к врачу мне тоже было нельзя. По всем вопросам, со всеми жалобами и повседневными просьбами следовало идти к заведующей – невысокой плотной женщине, розоволицей, с шумным дыханием, в очках без оправы. Любой вопрос или просьба заведующую как будто ошеломяли и вызывали непреодолимые трудности, но в конце концов она предоставляла ответ на вопрос или выполняла просьбу. Иногда заведующая ела в столовой для медсестер, где ей подавали особую еду и где в ее присутствии воцарялась траурная атмосфера. Но по большей части она держалась на своей территории.

Кроме заведующей, в санатории было три дипломированных медсестры, все старше меня как минимум лет на тридцать. Все пенсионерки, они вышли снова на работу из-за войны, движимые патриотическим долгом. Кроме них, здесь были еще санитарки, моих лет или даже моложе, в основном замужние или обрученные – или изо всех сил ищущие жениха или мужа, как правило военного. Когда заведующей и медсестер рядом не было, санитарки болтали не смолкая. Мной они не интересовались вообще. Они не хотели знать, что собой представляет город Торонто, хотя у некоторых из них были знакомые, которые ездили туда на медовый месяц. Им было все равно, как подвигается мое преподавание и чем я занималась до того, как начала работать в «Сане», как здесь его называли. Они были вполне вежливы, за столом передавали мне масло (оно называлось маслом, но на самом деле это был маргарин в неровных оранжевых разводах – красили его прямо на кухне, других вариантов не допускали тогдашние законы⁴) и предупреждали, чтобы я не ела «пастуший пирог», потому что у него начинка из сурчатины. Просто они старались сбросить со счетов события, происходящие в неизвестных им местах или происходившие в неизвестные им эпохи. Такие события мешали им жить. Если по радио передавали новости, девушки при первой же возможности старались их выключить и поймать какую-нибудь музыку. «Танцую с куколкой в дырявых чулках...»⁵

⁴ По канадским законам того времени продажа подкрашенного маргарина запрещалась – маргарин, производимый на фабрике и продаваемый в магазинах, мог быть только белым. Но потребители предпочитали желтый маргарин, больше похожий с виду на масло. Поэтому маргарин продавался сразу в комплекте с пузырьком пищевого красителя, и у покупателей была возможность подкрасить маргарин, добавив краситель в домашних условиях.

⁵ Песня 1944 г., широко исполнялась, в том числе такими известными певцами, как Бинг Кросби и сестры Эндрюс.

И медсестры, и санитарки не любили радиостанцию Си-би-си, а я была воспитана в твердой уверенности, что она несет культуру в глухомань. Но с другой стороны, они благоговели перед доктором Лиссом – в том числе и потому, что он прочитал столько книг.

Еще они говорили, что, если уж он захочет кого взгреть, тому человеку не поздоровится.

Я не могла понять, видят ли они какую-то связь между прочитанными книгами и умением взгреть провинившегося.

Обычные педагогические теории здесь не работают. Кто-то из этих детей вернется в большой мир или заведенную систему, а кто-то нет. Лучше обойтись без нагрузки. Вся эта ерунда с контрольными, заучиванием наизусть и классификациями.

Про оценки забудьте вообще. Кому надо будет, тот потом нагонит или обойдется. Учите самым простым навыкам, наборам фактов и т. п., которые понадобятся в Большом Мире. Так называемые одаренные дети? Отвратительный термин. Если ребенок способный в академическом смысле (как по мне, весьма сомнительная способность), он потом легко нагонит.

Забудьте про реки Южной Америки и Хартию вольностей.

Предпочтительно – рисование, музыка, рассказы.

Игры приемлемы, но следите, чтобы не было излишнего возбуждения или слишком сильной конкуренции.

Ваша задача – удержаться на тонкой грани между стрессом и скукой. Скука – проклятие больничных стационаров.

Если у заведующей не найдется нужная вещь, иногда оказывается, что она лежит в закромах у дворника.

Счастливого плавания!

Число детей на уроке каждый раз было разным. То пятнадцать, то всего шесть. Занятия шли только утром, с девяти до двенадцати, с переменами. Если у ребенка поднималась температура или ему надо было сдавать анализы, он на уроки не приходил. Приходящие дети были тихи и послушны, но не особенно интересовались учебой. Они давно уже поняли, что эта школа – понарошку и они не обязаны ничему учиться, так же как от них не требуется знание таблицы умножения и заучивание стихов наизусть. Но от такой свободы они не стали высокомерными, а скука не сподвигала их на опасные выходки – эти дети были кротки и мечтательны. Они тихо пели каноны. Они играли в крестики-нолики. Над импровизированной классной комнатой висела тень поражения.

Я решила поймать доктора на слове. На отдельных его словах: например, о том, что скука – это враг.

У дворника в чулане я заметила глобус. И попросила выдать его мне. Я начала с основ географии. Океаны, континенты, климатические зоны. Ветра и течения, почему бы нет? Страны и города. Тропик Рака и тропик Козерога. Почему бы, собственно, не реки Южной Америки?

Кто-то из детей проходил это раньше, но почти забыл. Мир за пределами леса и озера для них истончился и растаял. Мне показалось, что эти дети чуть приободрились, словно заново подружившись с тем, что когда-то знали. Конечно, я не вываливала на них все сразу. И мне приходилось двигаться медленно, чтобы не перегрузить тех, кто заболел слишком рано и вообще никогда ничего такого не изучал.

Но это не страшно. Учение можно превратить в игру. Я разделила детей на команды и велела выкрикивать ответы, а сама металась туда и сюда с указкой. Но однажды на урок вошел доктор – прямо с утренних операций – и застал меня врасплох. Я не могла вообще прекратить игру, но попыталась смягчить остроту соревнования. Доктор с усталым и отстраненным

видом сел за парту. Он не стал возражать против игры. Через несколько минут он включился в нее, выкрикивая смешные и нелепые ответы и не просто неправильные, но явно выдуманные названия. А потом, постепенно, стал понижать голос. Все тише, тише – до бормотания себе под нос, до шепота, до того, что вообще уже ничего не стало слышно. Ничего. Таким абсурдным приемом он захватил контроль над происходящим. Весь класс молча шевелил губами, подражая доктору. Дети не сводили глаз с его лица.

И вдруг он громко зарычал, и все расхохотались.

– Чего вы все на меня уставились? Этому вас учит ваша учительница, да? Пялиться на людей, которые сидят и никого не трогают?

Большинство детей засмеялись, но некоторые по-прежнему не сводили с него глаз. Они жаждали новых забавных выходов.

– Идите отсюда. Идите хулиганьте где-нибудь в другом месте.

Потом он извинился передо мной за то, что прервал урок. Я начала объяснять, почему решила сделать уроки больше похожими на настоящую школу.

– Понимаете, я согласна с вами насчет стресса, – серьезно заговорила я. – Я согласна с тем, что вы написали в своей инструкции. Я просто подумала...

– В какой инструкции? Ах, в той! Это просто обрывки мыслей. Отнюдь не заповеди, высеченные на мраморе.

– Я хочу сказать, если дети не слишком плохо себя чувствуют...

– Конечно, я уверен, что вы правы. Это не имеет значения.

– А то мне показалось, что детям скучно.

– Ясно, и незачем разводить церемонии, – сказал он и пошел прочь.

Потом остановился и обернулся, чтобы нехотя извиниться:

– Мы поговорим об этом в другой раз.

Я подумала, что другого раза не будет. Доктор явно считал меня надоедливой дурой.

За обедом санитарки сказали, что утром кто-то умер на операционном столе. Значит, мой гнев был неоправданным, и я почувствовала себя еще большей дурой.

Во второй половине дня я была свободна. У моих учеников был длинный тихий час, и мне иногда хотелось взять с них пример. У меня в комнате было холодно – как и во всем здании, гораздо холоднее, чем в квартире на Авеню-роуд, хотя мои бабушка с дедушкой и выкручивали регулятор батарей на минимум из патриотических соображений. И одеяло тоже было очень тонкое. Странно, – казалось бы, туберкулезные больные нуждаются в тепле и уюте.

Впрочем, у меня-то туберкулеза нет. Может быть, санаторий экономит на удобствах для здоровых людей.

Я была сонная, но заснуть не могла. Над головой скрипели колесики – это больных на кроватях выкатывали на открытые веранды, чтобы подвергнуть воздействию ледяного воздуха.

Здание, деревья, озеро больше ни разу не казались мне такими, как в самый первый день, когда меня поразила их тайна, их мудрость. В тот день я поверила, что невидима. Сегодня мне казалось, что это неправда и никогда не было правдой.

Вон учительница. Чего это она?

Смотрит на озеро.

Зачем?

Видно, ей больше заняться нечем.

Везет же некоторым.

Время от времени я пропускала обед (хотя он входил в мое жалованье) и отправлялась в Амундсен, где обедала в кафе. Вместо кофе там подавали суррогат из жареной пшеницы, а сэндвичи лучше было брать с консервированным лососем. Были еще сэндвичи с куриным

салатом, но его приходилось тщательно просматривать, выбирая шкурки и жилы. Но в кафе мне как-то легче дышалось – может, потому, что там меня никто не знал.

Хотя на этот счет я, скорее всего, ошибалась.

Женского туалета в заведении не было – приходилось идти в соседнее здание, где располагался отель, а там – в глубины здания по коридору, мимо открытой двери в пивную, где всегда было темно и шумно; из пивной пахло пивом и виски и вылетали клубы такого плотного сигаретного и сигарного дыма, что аж с ног сбивало. Но меня это не беспокоило. Лесорубы и работники лесопилки никогда не ухали мне вслед, в отличие от солдат и пилотов в Торонто. Здешние мужчины были глубоко погружены в мужской мир – они травили байки, обращаясь друг к другу, и ходили сюда не для того, чтобы гоняться за женщинами. Скорее, для того, чтобы на время убраться от них подальше.

Кабинет доктора находился на главной улице. В маленьком одноэтажном домике, – значит, жил доктор где-то еще. Из разговоров санитарок я поняла, что доктор не женат. На единственной неглавной улице городка я нашла дом, который мог принадлежать ему, – оштукатуренный, с мансардным окном над входной дверью, со стопками книг на подоконниках. У дома был унылый, но аккуратный вид, повествующий о минимальном, но обязательном уровне удобства для одинокого мужчины – одинокого мужчины, любящего порядок.

В конце этой единственной жилой улицы стояла двухэтажная школа. На первом этаже учились до восьмого класса, на втором – с девятого по двенадцатый. Как-то я заметила там Мэри – она играла в снежки. Мне показалось, что сражение идет между девочками и мальчиками. Увидев меня, Мэри громко закричала: «Училка идет!» – бросила наугад снежки с обеих рук и двинулась ко мне.

– До завтра! – крикнула она через плечо; скорее не прощание, а угроза, но, кажется, никем не услышанная. – Вы домой? – спросила она меня. – Я тоже. Я обычно езжу с Рыжим, но он сегодня припозднился. Вы на трамвае ездите?

Я сказала, что да, и Мэри ответила:

– Я могу вам показать другую дорогу, заодно и деньги сэкономите. Через кусты.

Она повела меня по узкой, но вполне проходимой тропе, которая шла над городом, потом через лес и мимо лесопилки.

– Так ездит Рыжий. Здесь выше, но зато дорога короче, когда сворачиваешь на «Сан».

Мы прошли мимо лесопилки, а потом над какими-то уродливыми вырубками в лесу – там стояли хижины, очевидно обитаемые, судя по веревкам с висящим на них бельем, поленицам и идущему из труб дыму. Из одной хижины выбежал огромный, похожий на волка пес и стал лаять и рычать, явно работая на публику.

– А ну заткнись! – заорала Мэри. Она мгновенно скатала и швырнула снежок, который попал собаке прямо между глаз.

Собака обратилась в бегство, но у Мэри уже был готов другой снежок, попавший собаке по крупу. Из хижины вышла женщина в фартуке и завопила:

– Ты его чуть не убила!

– Ну и хрен бы с ним.

– Вот мой старик тебе всыплет!

– Погляжу я на него. Твой старик и в стену сортира не попадет!

Собака следовала за нами в отдалении, неубедительно рыча и лая.

– Не беспокойтесь, я с любой собакой разберусь, – сказала Мэри. – Спорим, я и с медведем разберусь, если мы вдруг наскочим на медведя.

– А разве они сейчас не спят?

На самом деле собака меня сильно испугала, но я старалась не подавать виду.

– Да, но с ними никогда не знаешь. Однажды медведь-шатун залез в мусорку в «Сане». Мамка обернулась, а он там. Рыжий достал ружье и застрелил его. Рыжий катал нас с Анабель

на санях, и других ребят иногда тоже. Он умеет так свистеть, чтобы отпугивать медведей. А люди не слышат, для них этот звук слишком высокий.

– Правда? У него специальный свисток такой?

– Нет. Он ртом свистит.

Я вспомнила о представлении, устроенном доктором на моем уроке.

– Не знаю, может, он только так сказал, чтобы мы с Анабель не боялись. Она не могла ехать, и ему приходилось тянуть ее на санях, а я бежала следом. Иногда я тоже вскакивала на сани, а доктор ворчал: «Что такое с этими санями? Они, похоже, тонну весят». Потом он старался внезапно повернуться и подловить меня, но у него ни разу не вышло. И он спрашивал Анабель, почему сани такие тяжелые и что она ела на завтрак, но она меня ни разу не выдала. При других ребятах я этого не делала. Лучше всего было тогда, когда катались только мы с Анабель. Она была моя лучшая подруга, такой у меня уже никогда не будет.

– А эти девочки, с которыми ты играешь в школе? Они тебе разве не подруги?

– Ну, я с ними просто время провожу, когда нечем больше заняться. Они для меня ничего не значат. У нас с Анабель был день рождения в одном и том же месяце. В июне. Когда нам исполнилось по одиннадцать лет, Рыжий взял нас покататься на лодке по озеру. Он учил нас плавать. Ну, меня. Анабель ему всегда приходилось поддерживать, она не могла научиться. А однажды он уплыл сам далеко и мы насыпали песку ему в туфли. А на наш двенадцатый день рождения мы не могли такое делать, но пошли к нему домой и ели торт. Анабель не могла съесть ни кусочка, поэтому он повез нас в своей машине и мы кидали кусочки торта из окон чайкам. Они дрались и вопили как сумасшедшие. Мы хохотали до упаду, и доктору пришлось остановить машину и держать Анабель, чтобы у нее не началось кровотечение. А потом, после этого, мне уже не позволяли с ней видаться. Мамка вообще не хотела, чтобы я водилась с туберкулезными. Но Рыжий ее уговорил – сказал, что все прекратит, когда надо будет. И прекратил, и я на него ужасно злилась. Но все равно с Анабель было бы уже не так весело – она тогда уже слишком сильно болела. Я бы вам показала ее могилу, но она ничем не отмечена. Мы с Рыжим там что-нибудь поставим, когда у него руки дойдут. Если бы мы сейчас пошли прямо по дороге, а не свернули вниз, мы бы дошли до места, где она похоронена. Там хоронят только людей, которых некому забрать домой.

Мы уже спустились под гору и приближались к санаторию.

– Ой, чуть не забыла! – воскликнула она и вытащила пачку билетов. – Это на День святого Валентина. Мы в школе ставим такую пьесу, называется «Передник»⁶. Мне надо продать все эти билеты, а вы будете моей первой покупательницей! Мне тоже дали роль!

Оказалось, что я верно угадала дом доктора в Амундсене. Доктор повел меня туда на ужин. Приглашение последовало внезапно, когда мы столкнулись в вестибюле. Может быть, его мучила совесть из-за обещания поговорить со мной о педагогических идеях.

Он предложил как раз тот день, на который было назначено представление «Передника». Я сказала об этом, и он ответил:

– Ну и я тоже купил билет. Это не значит, что мы обязаны прийти.

– Но я вроде как обещала ей.

– Ну, значит, можете вроде как взять обещание обратно. Постановка будет ужасная, верьте моему слову.

Я повиновалась, хотя не видела Мэри до спектакля и не смогла ее предупредить. Я ждала там, где сказал мне доктор, – на открытой веранде у парадной двери. На мне было мое лучшее платье из темно-зеленого крепа с маленькими жемчужными пуговками и воротничком

⁶ «Корабль ее величества „Передник“» – популярная комическая опера (1878) английских авторов, драматурга сэра Уильяма Швенка Гильберта (1836–1911) и композитора сэра Артура Сеймура Салливана (1842–1900).

из настоящего кружева. Я надела замшевые туфли на высоком каблуке, а потом всунула ноги прямо в туфлях в пимы. Я ждала, назначенное время уже прошло, и я начала бояться – во-первых, что из кабинета выйдет заведующая и увидит меня и, во-вторых, что доктор вообще про меня забыл.

Но вот он вышел, застегивая пальто, и извинился.

– Всегда находятся хвосты, которые нужно подобрать, – сказал он и под яркими звездами повел меня вокруг всего здания к своей машине. Он спросил, не скользко ли мне, и, когда я сказала «нет» (и тут же засомневалась, вспомнив о замшевых туфлях), он не предложил мне руки.

Машина у него была старая, потрепанная, как все машины в то время. И без отопления. Доктор сказал, что мы едем к нему домой, и я вздохнула с облегчением. Я не представляла, как мы стали бы беседовать в переполненной пивной при отеле, а сэндвичей в кафе мне хотелось по возможности избежать.

Когда мы приехали, доктор велел мне не снимать пальто, пока в доме не станет теплее. Он тут же принялся растапливать печь.

– Я дворник, повар и официант в одном лице, – сказал он. – Скоро тут станет тепло и ужин подоспеет. Не предлагайте помочь, я предпочитаю все делать сам. Где вам удобней будет подождать? Если хотите, можете взглянуть на книги в гостиной. В пальто там должно быть вполне терпимо. Дом отапливается печками, и в комнатах, которыми я не пользуюсь, я просто не топлю. Выключатель внутри комнаты, прямо у двери. Вы не возражаете, если я послушаю новости? Я привык.

Я пошла в гостиную, чувствуя, что это приказ. Кухонную дверь я оставила открытой, но доктор пришел и закрыл ее со словами: «Только пока кухня согреется» – и ушел обратно – слушать торжественно-драматичный, почти священнодействующий голос диктора Си-би-си, сообщающий военные новости – новости последнего года войны. Я не слушала эту радиостанцию с тех пор, как уехала от бабушки с дедушкой, и очень пожалела, что нельзя остаться на кухне. Но меня ждали россыпи книг. Не только на полках, но и на столах, стульях, подоконниках, сваленные кучами на полу. Просмотрев несколько штук, я пришла к выводу, что доктор, скорее всего, покупает книги наборами и, похоже, состоит в нескольких книжных клубах. Серия «Гарвардская классика». Многотомная «История» Уилла и Ариэль Дюрантов. Точно такие же стояли на полках у моего деда. Беллетристики и поэзии было немного, хотя попало несколько удививших меня классических детских книг.

Книги о Гражданской войне в США, войнах в Южной Африке, Наполеоновских войнах, Пелопоннесских войнах, кампаниях Юлия Цезаря. Исследования Амазонки и Арктики. «Шеклтон во льдах». «Судьба экспедиции Франклина». «Отряд Доннера». «Затерянные племена: погребенные города Центральной Африки». «Ньютон и алхимия». «Секреты Гиндукуша». Хозяин этих книг явно стремится к знаниям, глотая их большими разрозненными кусками. Вряд ли его можно назвать педантом, человеком с жесткими, незыблемыми вкусами.

Значит, когда он меня спросил, какой именно русский роман я имею в виду, то стоял на довольно шаткой позиции.

Когда он закричал из кухни: «Готово!» – я пришла, вооруженная новым скептицизмом.

– С кем вы больше согласны, с Нафтой или Сеттембрини? – спросила я.

– Прошу прощения?

– В «Волшебной горе». Кто вам нравится больше – Нафта или Сеттембрини?

– Если честно, я всегда считал их обоих балаболами. А вы?

– Сеттембрини более гуманен, но Нафта интереснее.

– Что, теперь этому учат в школах?

– Мы не проходили этот роман в школе, – хладнокровно сказала я.

Он окинул меня беглым взглядом, подняв бровь:

– Извините. Если вас что-то заинтересовало в моей библиотеке, не стесняйтесь. Приходите и читайте в свободное время. У меня есть электрический обогреватель – с дровяной печью вы вряд ли управитесь. Подумаете об этом? Я соображу запасной ключ.

– Спасибо.

На ужин были свиные отбивные, картофельное пюре и консервированный горошек. На десерт – пирог с яблоками, из булочной. Пирог стал бы вкусней, если бы его подогрели.

Доктор расспрашивал меня о моей жизни в Торонто, об учебе в университете, о моих бабушке и дедушке. Он предположил, что меня воспитывали по чрезвычайно жестким правилам.

– Мой дедушка – священник либерального толка, вроде Пауля Тиллиха.

– А вы? Маленькая либеральная христианская внучка?

– Нет.

– Тушэ. Вы думаете, что я груб?

– Как посмотреть. Если это допрос сотрудника работодателем, то нет.

– Тогда я продолжу. У вас есть возлюбленный?

– Да.

– Он в армии, надо полагать.

– Во флоте.

Мне показалось, что это удачный выбор, – это позволит объяснить, почему я никогда не знаю, где находится мой жених, и не получаю от него писем. Можно также будет сказать, что ему никогда не дают увольнения на берег.

– А на чем он плавает?

– На сторожевом корабле.

Тоже хороший выбор. Через некоторое время его можно будет торпедировать – сторожевые корабли постоянно топят.

– Какой храбрец! Вам чай с молоком или сахаром?

– Без всего, спасибо.

– Хорошо, потому что у меня ни того ни другого нет. А знаете, когда вы врете, это очень заметно. Вы краснеете.

Если я до тех пор не покраснела, то при этих словах – уж точно. Кажется, волна жара пошла от ступней вверх по всему телу и из-под мышек потек пот. Я только надеялась, что платье не будет бесповоротно испорчено.

– Я всегда краснею, когда пью чай.

– В самом деле? Понятно.

Кажется, хуже уже все равно не будет. Я решила перейти в наступление. Поменяла тему и спросила доктора, как он оперирует людей. Неужели удаляет легкие, как кто-то мне говорил?

Он мог бы ответить, опять поддразнивая, свысока – возможно, так он представлял себе флирт, – и я думаю, что в этом случае надела бы пальто и ушла прямо в холодную ночь. И может быть, он это понимал. Он заговорил про торакопластику и объяснил, что этот метод тяжелее для пациента, чем коллапс и спадение целого легкого. Интересно, что о нем знал еще Гиппократ. Хотя, конечно, в последнее время обрел популярность и другой метод – удаление доли легкого.

– Но разве вы не теряете пациентов? – спросила я.

Он, видно, решил, что пришло время опять пошутить.

– А как же! Они убегают и прячутся в кустах. А потом деваются неизвестно куда. Может, прыгают в озеро... Вы хотели спросить, не умирают ли они? Конечно, бывает, что все методы бессильны. Да.

Но грядут большие перемены, продолжал он. Операции, которые он делает, скоро так же устареют, как кровопускание. Появится новое лекарство. Стрептомицин. Уже идут клиниче-

ские испытания. Конечно, у него есть и недостатки, у всего есть какие-то недостатки. Вреден для нервной системы. Но найдется решение и для этого.

– Тогда коновалам вроде меня придется идти на покой.

Он мыл посуду, а я вытирала. Он обвязал вокруг моей талии посудное полотенце, чтобы я не испортила платье. Аккуратно завязав узел, доктор положил ладонь мне на спину, между лопатками. Плотно и уверенно, чуть раздвинув пальцы – словно ощупывал меня на медицинском осмотре. Ложась спать, я все еще ощущала спиной это прикосновение. Я чувствовала, как нарастает его настойчивость, от мизинца до твердого большого пальца. Мне было приятно. Это прикосновение на самом деле было важнее поцелуя, запечатленного у меня на лбу чуть позже, за миг до моего выхода из машины. Сухого поцелуя, краткого и формального, поставленного мимоходом клейма собственника.

Ключ от докторского дома обнаружился на полу моей комнаты, просунутый под дверь в мое отсутствие. Но после всего, что было, я не могла им воспользоваться. Сделай мне такое предложение любой другой человек, я бы ухватилась за него руками и ногами. Особенно учитывая электрообогреватель. Но в данном случае прошлое и будущее присутствие доктора украдет у меня все заурядное удовольствие и заменит его наслаждением – скорее судорожным и невыносимым для нервов, чем расслабленным и роскошным. Я буду трястись даже рядом с обогревателем и, скорее всего, не смогу прочитать ни слова.

Я ждала, что появится Мэри и будет ругать меня за пропущенное представление. Сперва я собиралась сказать, что болела. Простудилась. Но потом вспомнила, что простуды в санатории были серьезным делом – маски, дезинфекция, временное изгнание. И к тому же скоро поняла, что утаить визит к доктору мне в любом случае не удастся. Он ни для кого не был секретом. В том числе для медсестер, которые ничего не сказали – то ли потому, что были возвышенно настроены и проявляли деликатность, то ли потому, что утратили интерес к подобным делам. Но санитарки открыто поддразнивали меня:

– Ну как, приятно вчера поужинали?

Тон был дружелюбный, – казалось, они одобряют происходящее. Видимо, в их глазах моя непривычная странность соединилась с привычной и уважаемой странностью доктора, и все вышло к лучшему. Мои акции поднялись. Что бы я собой ни представляла, по крайней мере, при благоприятном обороте событий я могу обзавестись мужчиной.

Мэри не появлялась целую неделю.

«До следующей субботы» – эти слова он произнес перед тем, как выдал мне поцелуй. В следующую субботу я снова ждала на крыльце, и на этот раз он не опоздал. Мы доехали до его дома, и я пошла в гостиную, пока он растапливал печку. В гостиной я заметила пыльный электрический обогреватель.

– Ты не воспользовалась моим предложением. Думаешь, я только из вежливости? Если я что-то предлагаю, это всегда от чистого сердца.

Я сказала, что не хотела выходить в город, чтобы не наткнуться на Мэри.

– Потому что я пропустила ее представление.

– Ну, если ты хочешь кроить свою жизнь в угоду Мэри...

Меню ужина было то же, что и в прошлый раз. Отбивные, картофельное пюре, только вместо консервированного горошка – консервированная кукуруза. На этот раз он позволил мне помочь ему с ужином и даже попросил накрыть на стол.

– Кстати, и узнаешь, где что лежит. У меня, по-моему, все довольно логично разложено.

В результате мне удалось посмотреть, как он орудует у печи. Я смотрела на сосредоточенность, скупые точные движения, и у меня внутри то рассыпались искры, то все холодело.

Мы только начали есть, когда в дверь постучали. Он встал, отодвинул засов, и в дом ворвалась Мэри.

В руках у нее была картонная коробка. Она поставила ее на стол, сбросила пальто и оказалась в красно-желтом костюме.

– Запоздалое поздравление с Днем святого Валентина! – провозгласила она. – Вы не пришли на мой концерт, так что я принесла концерт вам на дом! И еще подарок принесла, в коробочке.

У нее было отличное чувство равновесия – она по очереди скинула сапоги, стоя на одной ноге. Отбросив их пинком с дороги, она принялась скакать вокруг стола, распевая жалобным, но сильным молодым голосом:

Я зовусь малютка Лютик,
Бедная малютка Лютик,
Хоть сама не знаю почему.
Но все кричат: «Малютка Лютик,
Бедная малютка Лютик!» —
Что такое – право, не пойму.

Доктор вскочил сразу, когда она еще и запеть не успела. Он с чрезвычайно занятым видом встал у печки, соскребая жир со сковородки, на которой только что жарились отбивные.

Я захлопала:

– Какой прекрасный костюм!

Костюм действительно был прекрасный. Красная юбка, ярко-желтая нижняя юбка, воздушный белый фартук, вышитый корсаж.

– Это моя мамка сделала.

– Даже вышивку?

– Угу. Всю ночь накануне сидела, до четырех часов, чтоб закончить.

Она снова принялась кружиться и топать, чтобы показать костюм. На полках звякали тарелки. Я похлопала еще. Мы обе хотели только одного. Чтобы доктор обернулся и перестал нас игнорировать. Сказал хоть одно вежливое слово – пускай сквозь зубы.

– И гляньте-ка, что у меня еще есть, – сказала Мэри. – Валентинское печенье.

Она оторвала клапан коробки, и там оказались печенья-валентинки в форме сердечек, с толстым слоем красной глазури.

– Великолепно! – воскликнула я, и Мэри опять запрыгала:

Я капитан «Передника»,
И я весьма хорош,
Вот он, вот он, знайте все, мой экипаж во всей красе,
Лучше экипажа не найдешь!

Доктор наконец повернулся, и Мэри ему отсалютовала.

– Так, – сказал он. – Достаточно.

Она не обратила внимания:

Так кричите «ура» неустанно
В честь бравого капитана!

– Я сказал: «Достаточно».

– ...*В честь бравого капитана!*..

– Мэри. Мы ужинаем. Тебя мы не приглашали. Ты понимаешь? Не приглашали. Мэри наконец умолкла. Но лишь на миг.

– Ну и тьфу на вас тогда! Вы не очень-то вежливы.

– И еще тебе совершенно ни к чему это печенье. Тебе лучше вообще не есть печенье. А то станешь жирной, как молодая хрюшка.

Лицо у Мэри вспухло, словно она собиралась заплакать, но вместо этого она сказала:

– Кто бы говорил. У вас один глаз кривей другого.

– Достаточно.

– Я правду говорю.

Доктор нашел ее сапоги и поставил перед ней:

– Надевай.

Она повиновалась: глаза у нее были полны слез, из носу текло. Она громко хлопала. Доктор принес ей пальто и не помог надеть, а только смотрел, как она неуклюже влезает руками в рукава и ищет пуговицы.

– Так. А теперь, как ты сюда попала?

Она не ответила.

– Пришла пешком? Где твоя мать?

– Играет в юкр.

– Хорошо, я отвезу тебя домой. Чтобы у тебя не было ни единого шанса плюхнуться в сугроб и замерзнуть до смерти из жалости к себе.

Я молчала. Мэри ни разу не взглянула на меня. Мы обе были слишком потрясены, чтобы попрощаться.

Когда за окном завелась машина, я начала убирать со стола. Мы не успели съесть десерт – это опять был яблочный пирог. То ли доктор не знал, что на свете бывают и другие виды пирогов, то ли в здешней булочной других не пекли.

Я взяла одно печенье сердечком и съела его. Глазурь была ужасно сладкая. Не ягодная, не вишневая – только сахар и красный пищевой краситель. Я съела еще одно печенье, потом еще одно.

Я знала, что должна была хотя бы попрощаться. Поблагодарить. Но это не помогло бы. Я сказала себе, что это не помогло бы. Представление было адресовано не мне. Может быть, только часть его, очень малая часть, была обращена ко мне.

Доктор был жесток. Меня поразила его жестокость. По отношению к ребенку, так нуждающемуся в любви. Но в каком-то смысле он сделал это для меня. Чтобы никто не отнимал время, которое он хотел провести со мной. Эта мысль мне польстила, и мне стало стыдно, что эта мысль мне льстит. Я не знала, что скажу доктору, когда он вернется.

Но он и не ждал, чтобы я ему что-нибудь сказала. Он повел меня в постель. Интересно, он так планировал с самого начала или для него это был такой же сюрприз, как и для меня? Во всяком случае, моя девственность не застала его врасплох: он не только запасся презервативом, но и подложил полотенце. Он действовал осторожно, но настойчиво и добился цели. Вот мой пыл оказался сюрпризом для нас обоих. Видимо, воображение – достойная замена опыту.

– Я собираюсь на тебе жениться, честно, – сказал он.

Перед тем как отвезти меня домой, он вышвырнул все печенье, красные сердечки, в сугроб, чтобы их расклевали зимние птицы.

Так все решилось. Наша внезапная помолвка – он слегка побаивался этого слова – осталась между нами, но стала свершившимся фактом. Я не должна была упоминать о ней в письмах к бабушке и дедушке. Свадьба состоится, когда ему удастся выкроить пару дней отпуска подряд. Свадьба будет самой скромной, сказал он. Я должна была понять, что идея церемонии,

выполняемой в присутствии других людей, чьи воззрения он не уважает, все эти насильственно навязываемые сюсюканья и хихиканья для него неприемлемы.

Кольца с бриллиантами он тоже не признавал. Я сказала ему, что никогда не хотела кольцо (это была правда, потому что я просто никогда о них не думала). Он сказал, что это хорошо, – он знал, что я не из идиоток, которым главное, чтобы было «как у людей».

Совместные ужины нам пришлось прекратить – не только из-за разговоров, но и потому, что на одну продуктовую карточку трудно было раздобыть мяса на двоих. Моей карточки у меня не было – я отдала ее на кухню, то есть матери Мэри, когда начала столоваться в «Сане».

Лучше не привлекать к себе внимания.

Конечно, все что-то подозревали. Пожилые медсестры стали со мной ласковы, и даже заведующая время от времени дарила меня вымученной улыбкой. Я прихорашивалась, но скромненько, почти бессознательно. Я научилась окутывать себя бархатной тишиной, нести себя аккуратно, опустив глаза. Мне не приходило в голову, что эти женщины следят за тем, какой поворот примет наша близость, и готовы в любой момент вспылать ненавистью добродетели к греху, если доктор вдруг вздумает меня бросить.

Но санитарки были всецело на моей стороне. Они заглядывали ко мне в чашку и шутили, что видят в чайниках на дне очертания свадебных колоколов.

Март был мрачен. За дверями больничных палат что-то происходило. Санитарки сказали, что это самый плохой месяц, жди беды. Почему-то людям взбрело в голову умирать именно в марте, даже тем, кто пережил атаку зимы. Если кто-то из моих учеников не являлся в класс, я не знала – то ли ему стало хуже, то ли его просто уложили в постель с подозрением на простуду. Еще раньше я обзавелась классной доской с передвижной панелью и написала по краю имена всех учеников. Теперь мне даже не приходилось стирать имена тех, кто вернется в класс не скоро, – это делали за меня сами дети. Молча. Они понимали здешний этикет, который мне только предстояло освоить.

Наконец доктор нашел время, чтобы все устроить. Он подсунил под дверь моей комнаты записку, в которой говорилось, что я должна быть готова к первой неделе апреля. Если к тому времени не наступит какой-нибудь непредвиденный кризис, он сможет вырваться на пару дней.

Мы едем в Хантсвилль.

«Поездка в Хантсвилль» на нашем языке обозначает свадьбу.

Начался самый памятный, в чем я твердо уверена, день моей жизни. Зеленое крепкое платье, только что из химчистки, аккуратно скатано и уложено в сумку вместе с другими вещами, нужными на одну ночь. Это бабушка научила меня туго скатывать платья – тогда они гораздо меньше мнутся, чем сложенные. Наверно, мне придется переодеться где-нибудь в женском туалете. Я смотрю по сторонам дороги – нет ли первых весенних цветов, чтобы набрать букет. А согласится ли доктор на букет? Но еще слишком рано, даже мать-и-мачехи нет. Вдоль пустой вьющейся дороги не видно ничего, кроме чахлах черных елей и островков можжевельника среди болот. Иногда дорога проходит меж скал – уже знакомых мне здешних косых складок гранита и железистых ржавых, словно окровавленных, камней.

В машине включено радио. Играет торжествующая музыка – союзники вот-вот войдут в Берлин. Доктор... Алистер говорит, что они нарочно медлят, чтобы дать русским войти первыми. Он говорит, что они об этом пожалеют.

Теперь, когда мы далеко от Амундсена, мне легче называть доктора по имени. Мы первый раз так долго едем вместе, и меня возбуждает его мужское незнание меня – хотя мне уже известно, как быстро он переходит от незнания к познанию, – и его умение легко, непринужденно вести машину. Меня возбуждает, что он хирург, хотя в этом я никогда не признаюсь. Я готова в любой момент, прямо сейчас, лечь под него на любом болоте, в любой грязной луже

или расплющить позвоночник о придорожную скалу, если доктору будет угодно совокупиться со мной стоя. Еще я знаю, что должна держать все эти чувства при себе.

Я обращаю мысли в будущее. Я полагаю, что, как только мы доберемся до Хантсвилля, мы найдем священника и встанем рядом у него в гостиной, скромной, но благородной – чем-то напоминающей гостиную моих дедушки и бабушки и другие гостиные, к которым я привыкла. Я вспоминаю, как дедушку звали венчать, даже когда он уже вышел на пенсию. Бабушка в этих случаях чуточку румянила щеки и надевала темно-синий кружевной жакет, готовясь к роли свидетельницы.

Но оказывается, существуют разные способы выйти замуж, а у моего жениха есть еще одна фобия. Он не желает иметь ничего общего со священниками. Мы едем в хантсвилльскую мэрию, заполняем анкеты, подтверждая свой холостой и незамужний статус, и нам назначают время регистрации: нас поженит мировой судья сегодня же после обеда.

Надо идти обедать. Алистер останавливает машину у ресторана, который выглядит как родной брат кафе в Амундсене.

– Годится?

Он глядит мне в лицо и понимает, что нет.

– Нет? Ну хорошо.

В конце концов мы обедаем в холодной гостиной частного дома, в окне которого выставлено объявление: «Обеды из курицы». Тарелки холодны как лед, кроме нас, в гостиной никого нет, музыки из радио тоже нет, только звякают ножи и вилки – это мы сражаемся с жилистой курицей. Я уверена: он думает, что уж лучше бы мы остались в первом ресторане.

Но я все же набираюсь храбрости и спрашиваю про туалет, и там, в холоде, еще более пугающем, чем холод гостиной, встряхиваю зеленое платье и надеваю его, заново крашу губы и причесываюсь.

Когда я выхожу, Алистер встает, приветствуя меня, улыбается, сжимает мою руку и говорит, что я очень хорошенькая.

Мы неловко возвращаемся к машине, держась за руки. Он открывает для меня переднюю дверцу, обходит машину, садится, устраивается и поворачивает ключ в замке зажигания, но потом отключает его снова.

Наша машина припаркована перед магазином скобяных товаров. Магазин предлагает пятидесятипроцентную скидку на лопаты для снега. В витрине все еще висит объявление о том, что здесь точат коньки.

Через дорогу – деревянный дом, выкрашенный маслянистым желтым цветом. Ступеньки крыльца расшатались, и поверх них крест-накрест, буквой «X», приколочены две доски.

Перед машиной Алистера стоит грузовик – довоенной модели, с длинной подножкой и проржавевшими крыльями. Из магазина выходит мужчина в комбинезоне и садится в грузовик. Двигатель жалобно взрывает, и наконец грузовик со звоном и грохотом уезжает. Приезжает фургон для доставки товара, принадлежащий магазину, с его названием на борту, и пытается втиснуться на свободное место. Места не хватает. Водитель выходит, подходит к нашей машине и стучит по окну Алистера. Алистер удивлен: он всецело поглощен нашим разговором и не заметил, что что-то не так. Он опускает стекло, и водитель фургона спрашивает, зачем мы тут встали, – мы собираемся покупать что-то в магазине? Если нет, то не могли бы мы передвинуть машину в другое место?

– Мы уже уезжаем, – говорит Алистер, человек, сидящий рядом со мной. Человек, который собирался на мне жениться, но теперь уже не собирается. – Уже уезжаем.

«Мы». Он сказал «мы». Мгновение я держусь, цепляясь за это слово. Потом думаю, что это последний раз. Последний раз, когда он включает меня в слово «мы».

Для меня важно не это «мы» – не оно забивает последний гвоздь. Важен тон, которым он разговаривает с водителем, спокойное и разумное извинение. Я почти мечтаю о том, чтобы

вернуться во времени на минуту назад, когда он говорил со мной, даже не замечая попыток фургона втиснуться на место. То, что он говорил, было ужасно, но, по крайней мере, его руки изо всех сил сжимали руль, и по этой хватке, по его погруженности в себя, по голосу чувствовалось, что ему больно. Что бы он ни говорил, что бы ни имел в виду, это шло из глубин его существа – из тех же глубин он говорил со мной, когда мы были вместе в постели. Но не сейчас, после того как он перекинулся словами с другим мужчиной. Он закрывает окно и всецело уходит в маневры с машиной – аккуратно выбирается задним ходом из узкого парковочного места и сдает назад, чтобы не задеть фургон.

Секундой позже я понимаю, что была бы рада вернуться и в этот миг, когда он выворачивал шею, глядя назад. Это лучше, чем то, что происходит сейчас, – когда мы едем по главной улице Хантсвилля, словно все уже сказано и сделано и ничего нельзя исправить.

«Я не могу», – сказал он.

Он сказал, что не может довести до конца нашу свадьбу.

Он ничего не может объяснить.

Может только сказать, что это была ошибка.

Мне кажется, я теперь до конца жизни буду вспоминать его слова и голос при виде фигурной буквы «Т», как в этом объявлении «Точка коньков». И при виде двух грубых досок, сложенных крестом в виде буквы «Х», как на ступеньках желтого дома напротив магазина.

– Сейчас я отвезу тебя на станцию. Я куплю тебе билет до Торонто. Я уверен, что во второй половине дня есть поезд на Торонто. Я придумаю какое-нибудь убедительное объяснение и поручу кому-нибудь собрать твои вещи. Тебе придется дать мне свой торонтовский адрес – у меня он, скорее всего, не сохранился. А, да, я напишу тебе хорошую рекомендацию. Ты хорошо работала. Ты бы все равно не досидела до конца семестра – я тебе не говорил, но всех детей отсюда переводят. Нас ждут большие перемены.

Новый тон – почти задорный, насмешливый. Комедийное облегчение. Он старается не показывать свое облегчение, пока я не уеду.

Я смотрю на улицы. Наверно, что-то такое ощущают люди, которых везут на казнь. Еще не доехали. Есть еще немного времени. Это еще не в последний раз я слышу его голос. Еще нет.

Он ни у кого не спрашивает дорогу на станцию. Я вслух осведомляюсь, уж не приходилось ли ему и раньше сажать девушек на поезд.

– Не надо так, – говорит он.

Каждый поворот – словно кто-то ножницами отхватывает еще кусок от остатка моей жизни.

Есть поезд на Торонто в пять часов дня. Идя узнавать расписание, он велит мне оставаться в машине. Возвращается с билетом в руке и, как мне кажется, более легким шагом. Он, должно быть, сам это заметил – по мере того, как он подходит к машине, его манера становится серьезней.

– Там на станции хорошо, тепло. Для женщин есть отдельный зал ожидания.

Он открывает для меня дверцу машины:

– А хочешь, я подожду вместе с тобой и посажу тебя на поезд? Может быть, мы найдем какую-нибудь приличную кондитерскую и съедим по куску пирога. Обед был ужасный.

Эти слова заставляют меня встrepенуться. Я вылезая из машины и иду впереди него в здание станции. Он показывает мне дверь зала ожидания для женщин. Поднимает бровь и пытается отпустить финальную шутку:

– Может быть, однажды ты поймешь, что это была самая большая удача в твоей жизни.

Я выбираю скамейку в зале ожидания для женщин – такую, с которой видны двери на улицу. Это чтобы сразу увидеть его, если он решит вернуться. Он скажет, что пошутил. Или что это было испытание, как в какой-нибудь средневековой пьесе.

А может быть, он уже передумал. Сидя в машине, которая несется по шоссе, и глядя на игру бледного весеннего света на скалах, на которые мы лишь недавно смотрели вместе. До него доходит вся глубина совершенного им безумного поступка, он разворачивается прямо посреди дороги и спешит обратно.

Я жду не меньше часа, пока торонтовский поезд подают к перрону, но мне кажется, что прошло лишь несколько минут. И даже после появления поезда у меня в мозгу несутся одна за другой фантазии. Я захожу в вагон, как невольница с цепями на ногах. Когда свистит свисток, объявляя наше отбытие, я прижимаюсь лицом к стеклу, пытаюсь разглядеть перрон. Даже сейчас, может быть, еще не поздно спрыгнуть с подножки. Спрыгнуть, пробежать станцию насквозь и вылететь на площадь, где он только что поставил машину и бежит вверх по ступенькам, моля всех богов, чтобы не опоздать.

Я бегу ему навстречу – он не опоздал.

Чу! Что это за шум, вопли, крики? Не один человек, а целая куча едва не опоздавших пассажиров несется по проходу вагона. Девочки-старшеклассницы в спортивных костюмах – они заливаются смехом, глядя на устроенный ими переполох. Недовольный кондуктор подгоняет их, пока они, толкаясь, рассаживаются по местам.

С ними, пожалуй, самая громогласная – Мэри.

Я отворачиваюсь и больше не смотрю на них.

Но она уже выкрикивает мое имя и требует ответить, где я была.

Гостила у друзей, отвечаю я.

Она плюхается на сиденье рядом со мной и сообщает, что они ездили играть в баскетбол против Хантсвилльской школы. Было жуть как весело. Они проиграли.

– Мы ведь проиграли, верно? – кричит она в неподдельном восторге, и все остальные стонут или хихикают. Мэри называет счет матча, действительно позорный.

– Вы прямо разодеты, – говорит она. Но ее это не слишком волнует: кажется, мое объяснение ей неинтересно.

Она едва обращает внимание, когда я говорю ей, что еду в Торонто навестить бабушку с дедушкой. Только замечает, что они, наверно, ужасно старые. Про Алистера она не говорит ни слова. Даже плохого. Я знаю, что она ничего не забыла. Просто упорядочила в мыслях эту сцену и сложила в чулан, где лежат ее прошлые «я». А может, она из тех, кто легко и бездумно переносит унижение.

Сейчас я ей благодарна, хотя в тот момент чувствовала нечто совершенно иное. Будь я одна, что бы я стала делать, добравшись до Амундсена? Соскочила бы с поезда и помчалась к дому доктора с воплями «почему, почему?». Навеки покрыла бы себя позором. Но на деле стоянки в Амундсене только-только хватило, чтобы баскетбольная команда успела собрать вещи и выгрузиться из вагона, предварительно постучав по стеклу для сведения встречающих. Все это время кондуктор ворчал, чтобы они пошевеливались, а то уедут в Торонто.

Долгие годы я надеялась его встретить. Я жила и все еще живу в Торонто. Мне всегда казалось, что в Торонто рано или поздно попадают все, хоть ненадолго. Конечно, это не значит, что непременно столкнешься на улице с нужным человеком – при условии, что хоть немного хочешь его увидеть.

И все же это наконец случилось. На оживленном переходе, где даже затормозить нельзя. Мы шли навстречу друг другу. Уставились друг на друга одновременно – потрясение на побитых временем лицах.

– Как ты? – крикнул он, и я ответила:

– Хорошо.

И добавила для ровного счета:

– Счастлива.

В тот конкретный момент это было правдой лишь в очень общем смысле. Мы с мужем как-то вялотекуще ссорились из-за того, должны ли мы выплачивать долги, сделанные одним из его детей. В тот день я пошла на выставку в картинной галерее, чтобы хоть как-то восстановить душевное равновесие.

Он снова крикнул мне вслед:

– Молодец!

Мне все еще казалось, что мы можем выбраться из этой толпы и всего лишь миг спустя окажемся вместе. Но для меня было столь же очевидно, что каждый из нас пойдет дальше своей дорогой. Так и вышло. Я достигла тротуара – ни задыхающегося крика за спиной, ни внезапной руки у меня на плече. Только виденная мною вспышка – на долю секунды один его глаз открылся шире другого. Левый глаз, всегда только левый, как мне и запомнилось. Это каждый раз смотрелось ужасно странно: словно он начеку или удивлен, словно ему пришло в голову что-то абсолютно неправдоподобное и он чуть не рассмеялся.

Что же до меня – я чувствовала себя почти так же, как тогда в поезде, покидающем Амундсен, когда была все еще оглушена и не верила в то, что произошло.

Любовь на самом деле всегда остается той же.

Покидая Мэверли

В старые времена, когда в каждом городке был свой кинотеатр, в Мэверли он тоже был. Назывался он «Капиталь», как часто бывало с тогдашними кинотеатрами. Владельцем и кино-механиком в нем был Морган Холли. Он не любил иметь дело с публикой – предпочитал сидеть наверху у себя в закутке и крутить кино – и очень рассердился, когда молодая билетерша сказала, что уходит с работы, потому что собралась рожать. Этого можно было ожидать: она уже полгода как вышла замуж, а в те времена принято было прятаться от посторонних глаз еще до того, как живот становился заметным. Но Холли настолько не любил всяческих перемен и самой мысли о том, что у людей бывает частная жизнь, что новость застала его врасплох.

К счастью, билетерша тут же привела себе замену. Девушка, живущая по соседству с ней, сказала, что хотела бы подрабатывать по вечерам. Днем она работать не могла, потому что помогала матери с младшими. Она была достаточно умна, чтобы справиться с продажей билетов, хотя и застенчива.

Морган сказал, что это ничего, – он не для того платит билетершам, чтобы они болтали со зрителями.

И вот девушка вышла на работу. Звали ее Лия, и первым и единственным вопросом Моргана было, что это за имя такое. Она сказала, что это из Библии. Он заметил, что девушка совсем не пользуется косметикой и волосы у нее очень сильно прилизаны и удерживаются заколками-невидимками, и такая прическа ее совсем не красит. Он мимолетно подумал о том, что она не выглядит на шестнадцать и, может быть, еще не имеет права работать, но, разглядев ее поближе, решил, что она не врет. Он сказал, что ей надо будет работать на одном сеансе, который начинается в восемь часов вечера, по будням и на двух, начиная с семи вечера, в субботу. После закрытия в ее обязанности входит также пересчитать и запереть выручку.

Была только одна загвоздка. Девушка сказала, что в будни сможет ходить домой сама, но в субботу ей не разрешат – по субботам отец не может за ней заходить, потому что работает в ночную смену на фабрике.

Морган не понял, чего можно бояться в их городке, и уже было собирался указать ей на дверь, но вспомнил про ночного полицейского, который часто прерывал обход, чтобы заглянуть в кино и посмотреть кусочек фильма. Не сможет ли он провожать Лию домой?

Она сказала, что спросит у отца.

Отец согласился, но поставил еще ряд условий. Лия не должна была смотреть на экран и слушать реплики героев. В религиозной конфессии, к которой принадлежала семья, это не допускалось. Морган сказал, что не для того нанимает билетеров, чтобы они бесплатно пялились на экран. Что же до реплик – он соврал, что кинозал звукоизолирован.

Рэй Эллиот, ночной полицейский, нанялся на эту работу, чтобы помочь жене хотя бы часть дня. Он обходился пятью часами утреннего сна и кратким послеобеденным сном. Правда, после обеда ему часто не удавалось уснуть – иногда потому, что надо было доделать какую-нибудь работу по дому, а иногда просто оказывалось, что он заговорился с женой, Изабель. Детей у них не было, и они могли завести разговор в любой момент и о чем угодно. Он приносил ей городские новости, которые часто ее смешили, а она пересказывала ему прочитанные книги.

Рэй ушел на фронт, как только ему исполнилось восемнадцать. Он пошел в военно-воздушный флот – летчикам, как тогда говорили, доставалось больше всего приключений и самая быстрая смерть. Он стал средним верхним стрелком – Изабель так и не смогла понять, что это значит, – и остался в живых. Ближе к концу войны его перевели в новый экипаж, и не прошло и недели, как его старый самолет сбили и его прежний экипаж, люди, с которыми он столько раз летал на задание, пропал без вести. Он вернулся домой со смутным ощущением,

что теперь должен сделать что-то важное в жизни, которую ему так неожиданно оставили. Но что именно – не знал.

Сначала ему надо было окончить школу. В городке, где он вырос, устроили специальную школу на деньги благодарных граждан для таких, как он, – ветеранов, желающих учиться дальше и поступить в колледж. Английский язык и литературу им преподавала Изабель. Тридцатилетняя замужняя женщина. Ее муж тоже был ветераном и по воинскому званию превосходил всех учеников в ее классе. Она собиралась проработать в этой школе год, потом уйти с работы и завести детей. Она открыто обсуждала это со своими учениками, и они говорили за глаза, что некоторым мужикам везет.

Рэю эти разговоры были неприятны – по той причине, что он влюбился в учительницу. А она – в него, что казалось гораздо удивительней. Это было смешно и нелепо для всех, кроме них самих. Последовал развод, скандал в ее семье, принадлежавшей к «хорошему обществу», и удар для ее мужа, который еще с самого детства знал, что хочет взять ее в жены. Рэю пришлось легче – у него почти не было родственников, а те, что были, заявили: надо полагать, он теперь от них отвернется, раз уж женился на дамочке из высшего общества. А раз так, то они не смеют надоедать ему своим присутствием. Возможно, они ждали, что он начнет это отрицать или доказывать что-то. Но он лишь ответил: «Ну и ладно», и все тут. Значит, пора начать с чистого листа. Изабель решила оставаться в школе, пока Рэй не окончит колледж и не начнет работать по той специальности, которую ему только предстояло выбрать.

Но планы пришлось изменить. Она заболела. Сначала они думали, что это нервы. Из-за переполоха и всей этой дурацкой суетни.

Потом начались боли. Боли при каждом глубоком вдохе. Боль за грудиной и в левом плече. Изабель не обращала внимания. Она шутила, что Бог наказывает ее за любовную авантюру и что с Его стороны это напрасный труд, поскольку она в Него даже не верит.

У нее оказалась болезнь под названием «перикардит». Серьезная, и то, что Изабель не обращала внимания на свою хворь, ухудшило дело. Она никогда не вылечится, но сможет кое-как жить. Преподавать она больше не будет. Любая инфекция станет для нее смертельной, а где инфекции буйствуют сильнее всего, как не в школах. Теперь Рэю приходилось содержать жену, и он нашел работу полицейского в этом маленьком городке под названием Мэверли, на границе двух графств, Грей и Брюс. Рэй был не против такой работы, а Изабель постепенно свыклась со своим полуночным заточением.

В разговорах они избегали только одной темы. Каждый задумывался о том, не страдает ли другой от невозможности иметь детей. Рэю приходило в голову, что именно разочарование бездетности толкает Изабель на постоянные расспросы о девочке, которую он теперь провозжал домой по субботам.

– Это ужасно! – сказала она, когда услышала о запрете на кино, и еще сильнее расстроилась, когда узнала, что девочке не дали окончить школу, потому что она должна работать по дому. – Тем более ты говоришь, что она умненькая.

Рэй не помнил, чтобы говорил такое. Он рассказывал, что она до болезненности застенчива, так что во время их передвижения по городу ему приходилось все время ломать голову, придумывая темы для разговоров. Обычные вопросы не годились. Например, «какой твой любимый предмет в школе?». Во-первых, его надо было задавать в прошедшем времени, а во-вторых, теперь уже не имело совершенно никакого значения, какие предметы ей нравились когда-то. Или «кем ты хочешь работать, когда вырастешь?». С какой стороны ни посмотреть, она уже выросла и уже работает – хотя ее никто не спрашивал, хочет она делать именно такую работу или нет. Или вопрос о том, нравится ли ей этот город и не скучает ли она по тем местам, где жила раньше. Бессмысленно. А имена и возраст всех младших детей в семье она уже перечислила. Рэй спросил про кошек и собак, но оказалось, что у них нет ни кошки, ни собаки.

Зато у нее в конце концов нашелся вопрос к нему. Она спросила, над чем сегодня вечером смеялись люди в кино.

Рэй не стал напоминать ей, что она не должна была ничего слышать. Но не мог припомнить, что такого смешного было в фильме. Он сказал, что, наверно, это была какая-нибудь глупость, – заранее никогда не скажешь, что рассмешит зрителей. Он объяснил, что его фильмы обычно не захватывают, потому что он видит их кусками, отрывочно. Не удастся проследить сюжет.

– Сюжет, – повторила она.

Ему пришлось объяснить значение этого слова – объяснить, что в каждом фильме рассказывается какая-то история. И с тех пор они не испытывали недостатка в темах для разговора. Излишне было предостерегать девочку, чтобы она ничего из услышанного не повторяла дома. Она сама это понимала. Его задачей было не рассказать сюжет определенного фильма – впрочем, он, скорее всего, и не смог бы, – а объяснить, что в сюжетах часто действуют жулики и порядочные люди и что поначалу жулики обычно процветают, совершая преступления и обдуривая людей, которые поют в ночных клубах (это все равно что танцевальные залы, пояснил он) или, бог знает почему, распевают на горных вершинах или в каких-нибудь еще малопривлекательных местах, задерживая развитие сюжета. Иногда фильмы бывают цветные. И актеры одеты в роскошные костюмы, если действие фильма происходит в прошлом. И картинно убивают один другого. По щекам женщин катятся глицериновые слезы. На съемки привозят экзотических зверей из зоопарков и дразнят их, чтобы они злились. Убитые встают, как только камера поворачивается в другую сторону. Живые и невредимые, хотя только что на глазах у зрителей их застрелили или палач снес им голову и она покатилась с плахи в корзину.

– Не увлекайся, – предостерегала Изабель. – Ей начнут сниться кошмары.

Рэй сказал, что это вряд ли. Судя по виду, девочка переваривала услышанное, не впадая в тревогу или замешательство. Например, она ни разу не спросила, что такое плаха и почему с нее должна катиться голова. В этой девочке что-то есть, говорил Рэй жене, что-то такое, отчего она жадно впитывала его рассказы, а не просто восторгалась или удивлялась. Он подумал, что она уже в каком-то смысле отгородилась от семьи. Не для того, чтобы презирать их или судить. Просто она уходила в свои мысли – куда-то глубоко, на самое дно.

Но потом Рэй сказал кое-что, а потом ужасно пожалел о своих словах – он даже сам не знал почему.

– Ей в этой жизни нечего ждать, ей ни с какой стороны ничего не светит.

– Ну, мы можем забрать ее к себе, – сказала Изабель.

Он предупредил ее, что с такими вещами не шутят:

– Даже не думай об этом.

Незадолго до Рождества (впрочем, холода еще не установились) Морган пришел в полицейский участок – среди недели, около полуночи – и сказал, что Лия пропала.

Она продала билеты, как обычно, закрыла окошечко кассы, положила деньги куда надо и ушла домой – насколько он знал. Он сам запер кинотеатр по окончании сеанса, но, когда вышел на улицу, появилась какая-то незнакомая женщина и спросила, куда делась Лия. Это была ее мать. Мать Лии. Отец был все еще на работе, на фабрике, и Морган предположил, что, может быть, девочка решила зайти посмотреть, как он работает. Мать как будто не поняла, о чем он, и он объяснил, что можно пойти на фабрику – вдруг Лия там, и она, то есть мать, разрыдалась и стала умолять его этого не делать. Так что Морган отвез ее домой, думая, что, может быть, девушка уже вернулась, но ее так и не было, и тогда он решил поставить в известность Рэя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.